

Эрнст Гофман Повелитель Блох

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЕ

Введение,

из коего благосклонный читатель узнает о жизни господина Перегринуса Тиса ровно столько, сколько ему нужно знать. – Рождественская елка у переплетчика Лэммерхирта в Кальбахской улице и начало первого приключения.

– Две Алины.

Однажды – но какой автор ныне отважится начать так свой рассказ. «Старо! Скучно!» – восклицает благосклонный или, скорее, неблагосклонный читатель, который, согласно мудрому совету древнеримского поэта, хочет сразу же быть перенесенным *medias in res*. Ему становится так же не по себе, как если бы вошел к нему болтливый гость и расселся и стал бы откашливаться, собираясь приступить к своей нескончаемой речи, – он захлопывает с досады книгу, только что им раскрытую. Издатель чудесной сказки о Повелителе блох полагает, правда, что такое начало очень хорошо, что оно, собственно говоря, даже наилучшее для всякого повествования – недаром самые искусные сказочницы, как нянюшки, бабушки и прочие, искони приступали так к своим сказкам, – но так как каждый автор пишет преимущественно для того, чтобы его читали, то он (то ее вышеуказанный издатель) вовсе не хочет отнимать у благосклонного читателя удовольствия быть действительно его читателем. Посему сообщает он ему сразу безо всяких околичностей, что у того самого Перегринуса Тиса, о странной судьбе которого будет идти здесь речь, ни в один из рождественских сочельников сердце не билось так сильно от тревожной радости ожидания, как именно в тот, с коего начинается рассказ о его приключениях.

Перегринус находился в темной комнате, прилегавшей парадной зале, где для него обыкновенно приготовлялись святочные подарки. Он то бродил по ней осторожно взад и вперед и прислушивался, подходя к двери, к тому, что за ней делалось, то усаживался смиренно в угол и, закрывши глаза, вдыхал мистические благоухания марципана и пряников, струившиеся из соседней комнаты. Когда же, сразу опять открыв глаза, он бывал ослеплен яркими лучами, прыгавшими, и сюда по стене, пробиваясь сквозь дверные щели, то охватывал сладостный таинственный трепет.

Наконец прозвенел серебряный колокольчик, двери растлились, и Перегринус устремился в целое пламенное море сверкающих огоньков пестрых рождественских свечей. Оцепенев, замер Перегринус у стола, на котором в самом стройном порядке были расставлены прекраснейшие подарки, только громкое «ах!» вырвалось из его груди. Никогда святочное дерево не приносило таких богатых плодов: всевозможные сласти, какие только можно себе представить, и среди них золотые орехи, золотые яблоки из Гесперидовых садов, висели на ветвях, сгибавшихся под сладким их бременем. Нельзя описать всех отборнейших игрушек, прелестного оловянного войска, такой же охоты, развернутых книжек картинками и т. д. Он все еще не осмеливался дотронуться какого-нибудь из этих сокровищ, он старался только превозмочь свое изумление, освоиться с мыслью о том счастье, все это действительно ему принадлежит.

– О, милые мои родители! о добрая моя Алина! – воскликнул Перегринус с чувством величайшего восторга.

– Ну, хорошо я все устроила, Перегринчик? – отвечала Алина. – Радуетесь ли ты, дитя мое? Не хочешь ли ты поближе рассмотреть все эти чудные подарки, не хочешь ли ты попробовать твою новую рыжую лошадку?

– Превосходная лошадь, – говорил Перегринус, со слезами радости рассматривая

взнузданного деревянного конька, – превосходная лошадь, чистокровной арабской породы, – И он тут же вскочил на своего благородного, гордого коня; Перегринус вообще был прекрасным наездником, но на этот раз он что-то оплошал, потому что ретивый Понтифекс (так звали коня), храпя, поднялся на дыбы, и седок поел вверх ногами. Испуганная до смерти Алина не успела броситься к нему на помощь, как Перегринус уже вскочил и схватил за узду коня, который, брыкнув задними ногами, чуть было не ускакал. Снова прыгнул в седло Перегринус. и, напрягая всю свою силу и ловкость в наездническом искусстве, сумел так укротить дикого жеребца, что тот, весь дрожа и храпя, признал наконец в Перегринусе своего господина. Когда Перегринус спешился, Алина отвела в стойло укрощенное животное.

Бешеная скачка, наделавшая немало шума не только комнате, а, может быть, и во всем доме, теперь прекратилась, и Перегринус уселся за стол, чтобы спокойно рассмотреть другие чудесные подарки. С удовольствием уплетал Перегринус марципановые конфеты, заставлял в то же время то ту, то другую марионетку показывать свое искусство, заглядывал в книжки с картинками, затем сделал смотр своему войску, которое нашел обмундированным весьма целесообразно, и решил, что оно совершенно непобедимо по причине, что ни у одного из солдат не было желудка, и наконец перешел к охоте. С досадой обнаружил он тут, что налицо имелась только охота на зайцев да на лисиц, охоты же на оленей и на кабанов решительно не доставало. А ведь и охота должна была быть здесь, и никто не мог того лучше знать, чем Перегринус, который сам ведь все закупил с чрезвычайной заботливостью.

Необходимо, однако, оградить благосклонного читателя от досадных недоразумений, в которые он может впасть, если автор будет без дальнейших объяснений продолжать свой рассказ, не подумав о том, что если ему-то хорошо известны все обстоятельства, связанные с рождественской елкой, о которой идет речь, то они никак не известны любезному читателю, которому только хочется узнать о том, чего он еще не знает.

Тот очень ошибется, кто вообразит себе, что Перегринус Тис – маленький ребенок, которому добрая его мать какое-нибудь другое привязанное к нему существо женского пола, прозванное романтическим именем Алина, приготовило святочные подарки. Вовсе нет!

Господин Перегринус Тис достиг тридцати шести лет, то есть можно сказать, лучшего возраста жизни. Шесть лет назад о нем говорили как об очень красивом человеке, теперь же его называли статным мужчиной, и были правы; но и тогда и теперь Перегринуса все-таки порицали за то, он слишком в себе замыкается, что он не знает жизни и, видно, подвержен какой-то болезненной меланхолии. Отцы, у которых были дочери на выданье, полагали, что доброму Тису, чтобы излечиться от меланхолии, было бы всего лучше жениться; у него богатый выбор, и ему нечего бояться отказа. Мнение отцов, по крайней мере в последнем пункте, было вполне справедливо: господин Перегринус Тис, кроме того что, как сказано, был статным мужчиной, обладал и весьма приличным состоянием, оставленным ему его родителем, господином Балтазаром Тисом, очень зажиточным и видным купцом. Таким высокоодаренным мужчинам на невинный вопрос их: «Смею ли я надеяться, дорогая, что вы осчастливите меня вашей рукой?» – девушка, переступившая уже за мечтательный возраст любви, то есть достигшая двадцати трех – двадцати четырех лет, почти всегда отвечает, потупив взор и покраснев: «Поговорите с моими родителями, я всем им повинуюсь, у меня нет собственной воли». А родители, молитвенно сложив руки, произносят: «На все божья воля, мы ничего не имеем против, любезный сын!»

Но ни к чему не чувствовал такого нерасположения господин Перегринус Тис, как к женитьбе. Ибо, кроме того что он вообще дичился людей, совсем особую, странную идиосинкразию испытывал он по отношению к женскому полу. От близости женщины у него на лбу выступали капли пота, а уж если с ним заговаривала молоденькая да хорошенькая девушка, то его охватывал такой ужас, что язык прилипал гортани и судорожный трепет пробегал по всем его членам. Может быть, поэтому и старая его прислужница отличалась таким редкостным уродством, что многие обитатели околотка, где проживал господин Перегринус Тис, считали ее некой естественноисторической диковинкой. Ее взьерошенные,

черные с проседью волосы и красные слезящиеся глазки, толстый, медного цвета нос и бледно-синие губы создавали законченный образ аспирантки Блоксберга, и два-три столетия назад едва ли бы ей удалось миновать костер, тогда как теперь господин Перегринус Тис и даже многие другие лица почитали ее за весьма добродушную особу. Такова была она и на самом деле, и потому ей можно было простить, что в течение дня для подкрепления своего тела она пропускала не один стаканчик водки и, может быть, также слишком часто вынимала из-за пазухи огромную черную лакированную табакерку и щедро набивала свой весьма почтенный нос в стоящем оффенбахском табаком. Благосклонный читатель, верно, уже догадался, что эта примечательная особа и бы та самая Алина, которая устроила рождественскую елку. Один бог знает, каким образом она получила знаменитое имя королевы Голконды.

Но если отцы семейств и настаивали на том, чтобы богатый и приятный господин Перегринус Тис отказался от своей женобоязни и вступил в брак без дальних околичностей, то, со своей стороны, старые холостяки твердили, что прав господин Перегринус, ибо при его душевном складе вовсе не следует ему жениться.

Скверно было только одно, что многие при словах «душевный склад» делали очень таинственную мину, когда же их спрашивали подробнее, недвусмысленно давали и понять, что господин Перегринус Тис, к сожалению, не всегда бывает в здравом уме и что подвержен он этому несчастью еще с малолетства. Эти лица, считавшие бедного Перегринуса за помешанного, принадлежали по преимуществу к разряду людей, твердо убежденных, что на большой дороге жизни, которой велят держаться рассудок и благоразумие, нос – самый лучший путеводитель и указчик, и лучше уж надеть наглазники, чем дать увлечь себя в сторону каким-нибудь благоухающим кустарником или цветущим лужком.

Правда, впрочем, что и во внешности и в нраве господина Перегринуса было кое-что странное, с чем люди никак не могли примириться.

Мы уже сказали, что отец господина Перегринуса Тиса был очень богатый и видный купец, если же к этому прибавить, что он владел прекрасным домом на веселой Конной площади и что в этом доме, да еще как раз в той самой комнате, где всегда маленькому Перегринусу зажигали рождественскую елку, и на этот раз взрослый Перегринус получил свои святочные подарки, то не остается никаких сомнений, что место действия удивительных приключений, составляющих предмет нашего повествования, есть попросту знаменитый и прекрасный город Франкфурт-на-Майне.

О родителях Перегринуса достаточно сказать, что были они честные, тихие люди, о которых все отзывались только с похвалой. На бирже господин Тис пользовался безграничным уважением благодаря тому, что он всегда очень успешно спекулировал и выигрывал сумму за суммой, причем, однако, никогда не принимал надменного вида, оставаясь прежним скромным человеком, и никогда не хвастался своим богатством, а выказывал его только тем, что не скардничал ни в мелочах, ни в крупных делах и был чрезвычайно снисходителен к несостоятельным должникам, очутившимся в несчастном положении, хотя бы даже по их собственной вине.

Долго брак господина Тиса оставался бесплодным, но наконец, почти через двадцать лет, госпожа Тис порадовала своего супруга прекрасным ребенком, который и был не кто иной, как наш господин Перегринус Тис.

Можно себе представить, какова была радость родителей; и по сию пору еще рассказывают жители Франкфурта о блестящих крестинах, на которых старый господин Тис угощал благороднейшим многолетним рейнвейном, какой подают разве только на коронационных пиршествах. Но что особенно достойно похвалы, так это то, что старик Тис пригласил на крестины нескольких своих знакомых, враждебно к нему настроенных и причинявших ему не раз много неприятностей, а также и тех, по отношению к которым он сам почитал себя виноватым, так что пир обратился в настоящий праздник мира и всепрощения.

Ах! – добрый господин Тис и не подозревал, что этот самый мальчуган, появлению которого на свет он так обрадовался, скоро принесет ему много горя и забот.

Уже с самого раннего возраста в мальчике Перегринусе стал проявляться очень своеобразный нрав. Несколько недель подряд денно и ночью кричал он не переставая, причем никаких признаков телесного недомогания в нем нельзя было обнаружить, а затем вдруг сразу утих и застыл в полной бесчувственности. Казалось, ничто не производило на него ни малейшего впечатления, ни улыбки, ни желания поплакать не выражалось на его маленьком личике, точно принадлежало оно безжизненной кукле. Мать утверждала, что, будучи беременной, она загляделась на старого бухгалтера, у двадцать лет безмолвно сидевшего с таким же безжизненным выражением лица над конторской книгой; много горячих слез пролила она над маленьким автоматом.

Наконец крестной матери ребенка пришла счастливая мысль принести маленькому Перегринусу чрезвычайно пестрого и, по правде говоря, весьма уродливого арлекина. Глаза Перегринуса вдруг чудесно оживились, на губах заиграла легкая улыбка, он потянулся к кукле и, получив ее, с нежностью прижал к груди. Затем он посмотрел опять на пестрого человечка, да такими умными сознательными глазами, как будто вдруг пробудились в нем разум и восприимчивость, да еще в более сильной степени, чем свойственно детям его возраста.

– Он слишком умен, – проговорила кума, – он не проживет у вас долго. Взгляните только ему в глаза, он думает уж гораздо больше, чем ему следует!

Эти слова очень утешили старого господина Тиса, который стал было уже свыкаться с мыслью, что после многих лет напрасной надежды у него родился сын-недоумок, но вскоре посетила его новая забота.

Давно уже миновало то время, когда дети обыкновенно начинают говорить, а Перегринус все еще не вымолвил ни слова. Его можно было бы принять за глухонемого, если бы иногда он не взирал на говорящего с ним внимательным взглядом, явно выказывая свое участие радостной или печальной улыбкой, и не оставалось ни малейшего сомнения в том, что он не только слышал, но и все понимал. Каково же было удивление матери, когда сама она удостоверилась в том, что рассказывала его нянюшка! Ночью, когда ребенок лежал в постельке и думал, что его никто не слышит, он произносил про себя отдельные слова и даже целые фразы, и то была не исковерканная по-детски, но правильная, чистая речь, заставляющая предположить, что упражнения эти продолжаются уже довольно долго. Небо даровало женщинам совершенно особый такт и способность верно угадывать те или иные свойства человеческой природы, как они проявляются в индивидуальном своеобразии с самого рождения ребенка, и потому, по крайней мере для первых годов детства, женщины – лучшие воспитательницы. Этот такт и побудил госпожу Тис скрыть от ребенка, что за ним наблюдают, и не понуждать к разговору, более того, неприметно она другими способами добилась того, что он сам перестал скрывать свой прекрасный дар речи и, к общему удивлению, медленно, но внятно заговорил при всех. Однако к разговору он вообще выказывал полное нерасположение и очень бывал доволен, когда его оставляли в покое, предоставляя самому себе.

Но если и эта тревога, как бы сын не остался немым, миновала господина Тиса, то впереди его ждали гораздо большие заботы. Когда Перегринус достиг отроческого возраста и должен был приступить к учению, оказалось, что только с величайшим трудом ему можно было что-нибудь втолковать. Станным образом с чтением и письмом повторилась та же история, что и с разговором: сперва ему не давалось решительно ничего, а затем вдруг, сверх всякого ожидания, он сразу овладел и тем и другим. Тем не менее, когда ребенок подрос, ни один воспитатель не уживался в доме, и не потому, что мальчик им не нравился, а просто они никак не могли разобраться в его природе. Перегринус был тих, благоденствен, прилежен, и вместе с тем нечего было и думать о каком-либо систематическом обучении, как того хотели воспитатели, потому что понимал и увлекался он только тем, что затрагивало его внутренний мир, его душу, а все остальное бесследно проскальзывало мимо. Затрагивало же

его душу все чудесное, все, что возбуждало его фантазию, чем он потом жил и о чем мечтал. Так, получил он однажды в подарок большой, во всю стену его комнатки, чертеж города Пекина со всеми его улицами, домами и т. д. При взгляде на сказочный город, на чудесный народ, толкавшийся по его улицам, Перегринус, как бы по мановению волшебной палочки, перенесся в иной мир, в котором он сразу почувствовал себя как дома. С жаром набросился он на все, что только мог найти о Китае, китайцах, Пекине; старался тоненьким певучим голоском произносить звуки китайской речи, согласно тому описанию их, которое где-то ему попало; попытался даже при помощи картонных ножниц перекроить свой хорошенький коломьянковый халатик на китайский фасон, дабы, сообразно обычаям страны, с восторгом ходить по пекинским улицам. Все прочее совсем не привлекало внимания, к величайшей досаде учителя, который по настоятельному требованию строгого Тиса как раз в это самое время собирался преподать своему питомцу историю Ганзейского союза. Узнав, к великому своему сожалению, что Перегринуса нельзя вытащить из Пекина, отец приказал вытащить тащить самый Пекин из комнаты мальчика.

Дурным предзнаменованием казалось старому Тису то, что, будучи еще маленьким ребенком, Перегринус предпочитал разные бляхи дукатам, а к большим денежным мешкам и счетным книгам возымел вскоре решительное отвращение. Но уже совсем удивительно было то, что слова «вексель» он просто слышать не мог без судорожного трепета: он уверял, что при этом испытывает такое ощущение, точно скоблят острием ножа взад и вперед по стеклу. Господин Тис должен был признать, что Перегринус уже сызмала проявил свою непригодность для купеческой карьеры, и как ни хотелось ему, чтобы сын пошел по его стопам, он все-таки отказался от этого желания в предположении, что Перегринус посвятит себя какому-нибудь другому роду деятельности. Основным правилом господина Тиса было, что даже самый богатый человек должен иметь определенное занятие и положение в свете; к людям праздным испытывал он отвращение, и как раз к праздности имел Перегринус решительную склонность при всех своих знаниях, которые он по-своему приобрел и которые пребывали в хаотическом беспорядке. Это составляло самую большую и тягостную заботу господина Тиса. Перегринус ничего не желал знать о мире действительности, а старик жил только в этом мире, и неминуемо должно было случиться, что чем старше становился Перегринус, тем резче проявлялся этот разлад между отцом сыном, к немалому огорчению матери, которая с радостью б позволила своему кроткому, тихому, лучшему из сыновей Перегринусу витать в непонятном ей, правда, мире грез и мечтаний и никак не могла взять в толк, зачем нужно отцу взваливать на него непременно какое-то определенное занятие.

По совету опытных друзей старый Тис послал сына в Иенский университет, когда же он вернулся через три года, старик воскликнул с горечью и гневом:

– Ну, так я и думал! Мечтателем-дураком уехал, мечтателем-дураком и возвратился!

Господин Тис был прав, поскольку Перегринус ничуть не переменялся в своей природе, а остался точно таким же, каким уехал. Однако и тут господин Тис не потерял еще надежды образумить своего выродка сына, полагая, что если попробовать насильно вовлечь его в дела, то, может быть, в конце концов он войдет даже во вкус и станет держаться другого образа мыслей. Он послал его в Гамбург с поручениями, не требовавшими особых знаний по торговой части, и снабдил его, кроме того, рекомендательным письмом к своему тамошнему другу, прося не оставить его помощью и советом.

Перегринус явился в Гамбург, вручил товарищу своего отца не только рекомендательное письмо, но и все бумаги, касавшиеся его поручения, и вслед за тем исчез неизвестно куда.

Товарищ господина Тиса написал ему тогда нижеследующее:

«Ваше почтеннейшее письмо от... получил через господина Вашего сына. Но оный в дальнейшем не показывался, а тотчас уехал из Гамбурга, не оставив никаких поручений. Сделок на перец мало, хлопок – слабо, из кофе – спрос лишь на средний сорт, напротив – мелис идет хорошо, а также стойко с индиго. Примите и пр.»

Письмо это привело бы господина Тиса и его супругу в немалое замешательство, если

бы с той же почтой не было доставлено письмо и от самого блудного сына, в котором он извинялся с величайшим прискорбием, что никак не мог исполнить, согласно желанию отца, данных ему поручений и что он почувствовал непреодолимое стремление в дальние края, откуда через год надеется возвратиться на родину и счастливее и веселее.

– Хорошо, – сказал старый Тис, – пусть молодец оглядится на белом свете, там его встряхнут от его мечтательности.

Мать высказала беспокойство, что сыну может не хватить денег на большое путешествие, и порицала его легкомысленное нежелание написать даже, куда он едет, на что старик возразил со смехом:

– Недостанет денег – скорее познакомится с действительной жизнью, а не написал он нам, куда отправился, – так знает же, куда нам посылать письма.

Так и осталось неизвестным, куда направил свои стопы Перегринус; одни утверждают, что побывал он в далекой Индии, другие, напротив, держатся того мнения, что посетил он ее только в своем воображении; несомненно только одно, что побывал он далеко, так как не через год, как обещал родителям, а через целых три года возвратился Перегринус во Франкфурт, притом пешком и в довольно-таки жалком виде.

Родительский дом он нашел наглухо запертым, и сколько он ни звонил, ни стучал, никто внутри не откликнулся.

Наконец пришел с биржи сосед, и Перегринус сейчас же обратился к нему с вопросом, не уехал ли уж куда-нибудь господин Тис.

Но сосед отскочил от него в сильном испуге и воскликнул:

– Господин Перегринус Тис! Так это вы? Наконец вернулись? Так, значит, вы не знаете?..

Коротко говоря, Перегринус узнал, что за его отсутствие родители его умерли вскоре один за другим, что суд описал; все оставленное ими имущество и, так как место пребывания Перегринуса было неизвестно, опубликовал приглашение ему вернуться во Франкфурт и утвердиться в правах наследства.

Молча стоял Перегринус перед соседом, впервые пронзило ему грудь горе жизни, разрушенным узрел он прекрасный, сверкающий мир, в котором жил до сих пор беззаботно.

Сосед, видя, что Перегринус не способен предпринять ничего решительно из того, что было необходимо, пригласил его в свой дом, а сам с такой быстротой все устроил, что в тот же вечер Перегринус водворился уже в родительском доме.

В полном изнеможении и безутешности, какой никогда еще не испытывал, погрузился он в большое отцовское кресло, стоявшее все на том же самом месте, где стояло в былые годы; и тут подле него раздался голос:

– Как хорошо, что вы опять здесь, дорогой господин Перегринус! Ах, если бы вы только возвратились пораньше!

Перегринус поднял глаза и увидел прямо перед собой старуху, которую отец взял ему в няньки, главным образом из сострадания, потому что по причине ужасной уродливости ей трудно было найти место, и которая с раннего его детства так и не оставляла их дома.

Долго смотрел Перегринус на старуху в оцепенении, наконец, странно улынувшись, он произнес:

– Ты ли это, Алина? Не правда ли, родители ведь еще живы?

С этими словами он встал и прошел по всем комнатам, осматривая каждый стул, каждый угол, каждую картину и т. д. После этого он сказал спокойно:

– Да, все здесь, как прежде, когда я покинул дом, и так оно должно оставаться и впредь!

С этой минуты Перегринус повел тот странный образ жизни, о котором упомянули мы вначале. Замкнувшись от всякого общества, жил он со своей старушкой нянюшкой в большом просторном доме, в глубочайшем одиночестве, сперва совсем один, а позднее сдал внаймы несколько комнат одному старому другу своего отца. Человек этот чуждался людей так же, как Перегринус. Понятно, почему оба они прекрасно уживались вместе, никогда друг

друга не видя.

Только четыре семейных праздника Перегринус справлял с особой торжественностью: дни рождения отца и матери, первый день Пасхи и день своих крестин. В эти дни Алина должна была накрывать стол на столько персон, сколько отец приглашал в былое время, и подавать те же самые блюда и то же самое вино, какими любил угощать отец. Само собой разумеется, что употреблялось при этом, по многолетнему обычаю, и то же самое серебро, те же тарелки, те же стаканы, что и прежде, сохранившиеся в наследстве неприкосновенными. Перегринус строго это соблюдал. Когда стол был накрыт, Перегринус садился за него один-одинешенек, ел и пил очень мало, прислушивался к разговору родителей, воображаемых гостей и сам только скромно отвечал на тот или иной вопрос, с которым обращался к нему кто-нибудь из общества. Как только мать отодвигала свой стул, он вставал из-за стола вместе с другими и вежливо приветствовал каждого. Затем он уходил в отдаленную комнату, поручая Алине распределить оставшиеся нетронутыми кушанья и вино между бедняками околотка, и добрая душа исполняла приказание своего господина с величайшей добросовестностью. Празднование дней рождения отца и матери начинал Перегринус уже ранним утром с того, что приносил в комнату, где завтракали родители, красивый венок из цветов и произносил выученные наизусть стихи, как это бывало в детстве. В день своих крестин сам он, естественно, не мог садиться за стол, как рожденный незадолго перед тем, и Алина уже одна должна была обо всем позаботиться, то есть потчевать гостей вином и вообще быть за столом радушной хозяйкой; все остальное происходило как и в другие праздники. Но, кроме сего, был у Перегринуса еще один особенно радостный день в году, или, точнее, радостный вечер, именно рождественский сочельник, который приводил в такой восторг и умиление его детскую душу, как ни одно другое удовольствие.

Сам заботился он о закупке разноцветных елочных свечей, игрушек, лакомств, обо всем, что делали для него в его детстве родители, и затем праздник шел своим чередом, как уже известно благосклонному читателю. |

– Досадно-таки, – сказал Перегринус, поиграв еще несколько времени,

– очень досадно, что пропала охота на оленей и кабанов. И куда только она запропастилась! А! – вот она! – Он заметил в эту минуту одну, не открытую еще коробку и схватил ее тотчас, полагая найти в ней недостающую охоту; однако, открыв ее, он обнаружил, что она пуста, и вдруг отпрянул, охваченный каким-то испугом. «Странно, – прошептал он про себя, – странно! что же это за коробка? мне почудилось, будто на меня оттуда выпрыгнуло что-то страшное, но мои глаза оказались слишком слабы, чтобы разглядеть, что это такое!»

На расспросы его Алина уверяла, что она нашла коробку среди игрушек, но сколько ни старалась, не смогла ее открыть; тогда она подумала, что в ней содержится нечто особенное и крышка поддается только искусной руке господина.

– Странно, – повторил Перегринус, – очень странно. А ведь мне особенно нравилась эта охота; надеюсь, что это не дурная примета! Но нечего предаваться в сочельник таким мрачным мыслям, к тому же ни на чем не основанным?! Алина, принеси корзинку!

Алина тотчас же принесла большую белую корзину, куда Перегринус старательно уложил игрушки, сласти, свечи, затем корзину взял под мышку; рождественскую елку взвалил на плечо и отправился в путь.

Господин Перегринус Тис имел похвальное обыкновение внезапно являться в виде деда мороза со всеми пестрыми подарками, которые сам приготовил для себя, в какое-нибудь нуждающееся семейство, где, он знал, были маленькие дети, чтобы перенестись на несколько часов в счастливое беззаботное детство. Наглядевшись на светлую живую радость детей, он незаметно удалялся и часто полночи бегал по улицам, потому что не в силах был успокоить глубокое, стеснявшее ему грудь волнение, а собственный его дом представлялся ему мрачной гробницей, в которой он похоронен со всеми своими радостями. На этот раз подарки были предназначены детям бедного переплетчика Лэммерхирта, искусного и трудолюбивого мастера, который работал с некоторых пор на Перегринуса и был отцом трех

резвых мальчуганов от пяти до девяти лет.

Переpletчик Лэммерхирт жил в самом верхнем этаже узкого дома на Кальбахской улице. Буря свистела и неистовствовала, шел то дождь, то снег; понятно, что господин Перегринус лишь с величайшими усилиями смог достичь своей цели. Тускло мерцали свечи в окнах Лэммерхирта, Перегринус с трудом взобрался по крутой лестнице.

– Отоприте, – закричал он, стуча в дверь, – отоприте; отоприте, Христос посылает добрым детям свои подарки!

В полном испуге переpletчик отворил дверь и насилу узнал занесенного снегом Перегринуса.

– Почтеннейший господин Тис, – воскликнул изумленный Лэммерхирт, – почтеннейший господин Тис, чему я обязан, скажите бога ради, такой особой честью в самый рождественский сочельник?

Но господин Перегринус не дал ему договорить. Громко восклицая: «Дети, дети! смотрите, младенец Христос посылает вам свои подарки!» – устремился он к большому столу посреди комнаты и принялся тотчас же выкладывать запрятанные в корзине дары. Всю вымокшую елку, с которой так и текло, он должен был, конечно, оставить за дверью. Переpletчик все еще не мог понять, что все сие означало; жена его была догадливей, так как она улыбалась Перегринусу со слезами на глазах, а мальчишки стояли поодаль и молча пожирали глазами каждый подарок, по мере их появления из корзинки, и часто не могли удержаться от громких выражений радости и удивления. Когда же Перегринус наконец распределил все подарки сообразно с возрастом каждого ребенка, зажег все свечи и воскликнул: «Сюда, дети, сюда! – вот подарки, которые вам посылает младенец Христос!» – мальчишки, которые еще неясно представляли, что все это может принадлежать им, закричали, запрыгали, захлопали в ладоши, в то время как родители готовились благодарить своего благодетеля.

Но как раз благодарности родителей, а также и детей, всегда старался избегать господин Перегринус, и теперь он хотел, по обыкновению, тихонько ускользнуть. Он был уже у Двери, как вдруг она отворилась, и в ярком сиянии рождественских свечей предстала пред ним молодая женщина в блестящей одежде.

Автор редко производит хорошее впечатление, когда принимается точно описывать благосклонному читателю наружность той или другой прекрасной особы, выступающей в его повествовании, ее рост, фигуру, осанку, цвет глаз и волос; гораздо лучше представляется мне показать ее читателю целиком, без такого детального разбора. Достаточно было бы и здесь ограничиться простым уверением, что женщина, представшая пред лицом испуганного до смерти Перегринуса, была в высшей степени красива и очаровательна, если бы не оказалось необходимым упомянуть и о некоторых отличительных свойствах этой маленькой особы.

Женщина эта была действительно мала ростом, даже чересчур мала, но сложена очень стройно и изящно. Вместе с тем лицу ее, вообще красивому и выразительному, одна особенность придавала что-то нездешнее и странное: зрачки ее глаз были значительно шире, а черные тонкие брови находились выше, чем это бывает обыкновенно. Одета, или, вернее, разряжена, была эта маленькая дама, как будто только что приехала с бала: роскошная диадема блистала в черных волосах, богатые кружева только наполовину прикрывали полную грудь, тяжелое шелковое платье в лиловую и желтую клетку облегалo гибкий стан и ниспадало широкими складками лишь настолько, что позволяло разглядеть прелестнейшие, обутые в белые туфельки ножки, а между кружевными рукавами и белыми лайковыми перчатками оставался достаточный промежуток для лицезрения прекраснейшей части ослепительной руки. Богатое ожерелье и бриллиантовые серьги довершали наряд.

Естественно, что переpletчик был столь же ошеломлен, как и господин Перегринус, а дети, побросав игрушки, глазели на незнакомку разинув рты; но женщины гораздо менее поражаются чем-нибудь странным и необычным и вообще гораздо скорее собираются с мыслями, а потому у жены переpletчика у первой развязался язык, и она обратилась к

незнакомке с вопросом: что будет угодно прекрасной даме?

Тут дама вошла в комнату, и напуганный Перегринус хотел было уже воспользоваться этим мгновением, чтобы поскорее ускользнуть, как незнакомка схватила его за обе руки и прошептала сладостным голоском:

– Итак, счастье мне все-таки благоприятствует, я нашла-таки вас! О Перегрин, мой дорогой Перегрин, что за прекрасное, блаженное свидание!

С этими словами она приподняла свою правую руку так, что коснулась губ Перегринуса, и он был вынужден ее поцеловать, хотя при этом холодные капли пота выступили у него на лбу. Тут дама отпустила обе его руки, давая ему возможность убежать, но он чувствовал себя околдованным и не трогался с места, как бедный зверек, очарованный взором гремучей змеи.

– Позвольте мне, – заговорила тогда дама, – позвольте же и мне, дражайший Перегрин, принять участие в прекрасном празднике, который вы, по доброте и благородству вашей нежной души, устроили невинным детям, позвольте же и мне внести в него свою лепту.

Тут она стала вынимать из изящной корзиночки, висевшей у нее на руке и остававшейся до сих пор незамеченной, всевозможные прелестные игрушки, заботливо и аккуратно расставила их на столе, подвела к нему мальчиков, указала каждому, что ему предназначено, и так мило обращалась с детьми, что лучше и нельзя себе представить. Переплетчик думал, что он видит это во сне, жена же его лукаво улыбалась, будучи убеждена, что между господином Перегрином и незнакомой дамой, надо полагать, было особое соглашение.

Пока родители удивлялись, а дети радовались, незнакомка уселась на ветхий, расшатанный диван и посадила рядом с собой господина Перегринуса Тиса, который теперь уже и сам не знал, действительно ли он есть это самое лицо.

– Дорогой мой, – начала она тихо шептать ему в ухо, – дорогой и милый мой друг, какую радость, какое блаженство испытываю я подле тебя.

– Позвольте, – запинаясь бормотал Перегринус, – позвольте, сударыня.

– Но вдруг, бог знает как, губы незнакомки очутились так близко от его губ, что не успел он даже подумать о поцелуе, как уже поцеловал ее; а что после этого он снова и уже окончательно потерял способность речи, это само собой разумеется.

– Мой милый друг, – продолжала говорить незнакомка, так близко придвигаясь к Перегринусу, что еще немного и она уселась бы к нему на колени, – мой милый друг! я знаю, что печалит тебя, я знаю, что так огорчило твою чистую младенческую душу сегодня вечером. Но! – будь утешен! Я принесла тебе то, что ты потерял и что едва ли надеялся когда-нибудь возвратить себе вновь!

С этими словами незнакомка вынула из той же самой корзиночки, в которой находились игрушки, деревянную коробочку и вручила ее Перегринусу. То была оленья и кабанья охота, которой он недосчитался на рождественском столе. Трудно описать странные чувства, боровшиеся в груди Перегринуса в эту минуту.

Если в наружности незнакомки, несмотря на ее миловидность и привлекательность, было все-таки нечто призрачное, что привело бы в трепет и людей, менее Перегринуса боящихся близости женщины, то каков же был ужас, охвативший и без того достаточно напуганного Перегринуса, когда он увидел, что эта дама была точнейшим образом осведомлена обо всех самых затаенных его начинаниях. И, несмотря на этот страх, зарождался в нем, когда он поднимал глаза и торжествующий взгляд прекраснейших черных очей сиял на него из-под длинных шелковых ресниц, когда он чувствовал сладостное дыхание прелестного существа, электрическую теплоту ее тела, – зарождался в нем чудесный трепет невыразимого влечения, какого он не знал до той поры! Впервые вдруг представились ему все ребячество и нелепость его образа жизни, вся игра в святочные подарки, и ему стало стыдно, что незнакомка про это знает; и тут опять показался ему подарок дамы живым доказательством того, что она поняла его, как никто еще на земле, и что глубокое нежное чувство побудило ее доставить ему такую радость. Он решил навеки

сохранить драгоценный дар, никогда не выпускать его из рук и, весь охваченный непреодолимым чувством, с жаром прижал к груди коробочку, в которой находилась оленья и кабанья охота.

– О, – шептала незнакомка, – о, что за восторг! Тебя радует мой подарок! О, милый мой Перегрин, стало быть, не обманули меня мои грезы, мои предчувствия?

Господин Перегринус Тис несколько пришел в себя, так что был в состоянии вполне явственно и внятно проговорить:

– Но, дражайшая, высокочтимая сударыня, если бы я только знал, с кем я имею честь.

– О, плутишка, – перебила его дама, тихонечко трепля его по щеке, – плутишка, ты ведь делаешь вид, будто не узнаешь твоей верной Алины! Однако время дать покой этим добрым людям. Проводите меня, господин Тис!

Естественно, что при имени Алины Перегринус должен был подумать о своей старой нянюшке, и ему показалось, точно в голове у него завертелась ветряная мельница.

Когда незнакомка стала радушно и приветливо прощаться со всей семьей, переплетчик от великого изумления и почтительного трепета мог только пробормотать что-то несвязное, дети же обошлись с ней, как с давнишней знакомой, а мать их сказала:

– Такой красивый и милый господин, как вы, господин Тис, вполне достоин такой прекрасной, доброй невесты, которая даже ночью помогает ему в его добрых делах. Поздравляю вас от всей души!

Растроганная незнакомка поблагодарила ее, уверив, что день ее свадьбы будет и для них праздником, затем, настойчиво запретив всякие проводы, сама взяла свечечку с рождественской елки, чтобы посветить на лестнице.

Можно себе представить, каково было господину Тису, когда незнакомая дама повисла у него на руке! «Проводите меня, господин Тис», – думал он про себя, – это значит: вниз по лестнице до кареты, которая стоит у дверей и где ждет лакей, а может быть, и целая свита, так как в конце концов это – какая-нибудь сумасшедшая принцесса, которая здесь... Избави меня, господи, поскорей от этого мучительного наваждения, сохрани мне мой слабый рассудок!»

Господин Тис не подозревал, что все случившееся до сей поры было только прологом удивительнейшего приключения, и потому, сам того не ведая, сделал очень хорошо, заранее попросив господина о сохранении своего рассудка.

Когда наша чета спустилась с лестницы, невидимые руки распахнули наружную дверь и, пропустив в нее Перегринуса с его спутницей, вновь ее затворили. Перегринус ничего этого не заметил, ибо слишком был поражен тем обстоятельством, что перед домом не было и признака ни кареты, ни ожидающего слуги.

– Бога ради, – воскликнул Перегринус, – где же ваша карета, сударыня?

– Карета? – возразила дама. – Карета? – какая карета? Уж не полагаете ли вы, милый Перегринус, что мое нетерпение, моя тоска по вас позволили бы мне спокойно ехать сюда в экипаже? Влекомая томлением и надеждою, бегала я по городу в непогоду и бурю, пока не нашла вас. Слава богу, это мне удалось. Только проводите меня теперь домой, милый Перегринус, я живу неподалеку отсюда.

Господин Перегринус с трудом отогнал несколько смутившую его мысль о том, как могло случиться, что в туалете незнакомки, одетой с иголки, не было заметно ни малейшего следа какого-нибудь расстройства, тогда как, казалось бы, совершенно невозможно, чтобы даме, столь расфранченной, в белых шелковых башмачках, удалось пройти даже несколько шагов без того, чтобы в бурю, дождь и снег не испортить всего наряда; он собрался сопровождать незнакомку и дальше и радовался только, что погода переменилась. Бешеная буря пронеслась, на небе не было ни облачка, полная луна приветливо светила на землю, и лишь резкий пронизывающий воздух давал чувствовать, что ночь зимняя.

Но едва Перегринус ступил несколько шагов, как дама начала тихо стонать, а затем разразилась громкими жалобами, что она коченеет от холода. У Перегринуса кровь кипела в

жилах – и потому он не заметил холода и не подумал о легком одеянии своей дамы, которая не была прикрыта даже ни шалью, ни платком, – вдруг он сообразил, как был недогадлив, и хотел закутать ее в свой плащ. Но дама не допустила этого, простонав:

– Нет, милый мой Перегрин! это мне не поможет! Мои ноги – ах, мои ноги! я умру от этой ужасной боли.

Обессиленная, она готова была уж совсем поникнуть и только произнесла умирающим голосом:

– Понеси, понеси меня, дорогой мой друг! И Перегринус без дальних слов схватил тут маленькую, легкую как перышко даму к себе на руки, точно ребенка, и заботливо закутал ее в свой широкий плащ. Но не прошел он и малой части пути со своей сладостной ношей, как все сильнее и сильнее стали его охватывать дикие порывы пламенной страсти. Как полупомешанный бежал он по улицам, осыпая горячими поцелуями шею и грудь прелестного существа, крепко к нему прижавшегося. Наконец точно какой-то толчок разом пробудил его от сна; он находился прямо перед какой-то дверью и, подняв глаза, узнал свой дом на Конной площади.

Только теперь сообразил он, что даже не осведомился у незнакомки, где она живет, и, собравшись с духом, спросил ее:

– Сударыня! небесное божественное создание, где вы живете?

– Ах, – возразила незнакомка, приподняв головку, – ах, милый мой Перегрин, да здесь же, здесь, в этом самом доме, я ведь твоя Алина, я ведь живу у тебя! Вели же скорее отворить дверь.

– Нет! никогда! – вскричал в ужасе Перегринус и выпустил из рук свою ношу.

– Как, – воскликнула незнакомка, – как, Перегрин, ты отталкиваешь меня, зная мою ужасную участь, зная, что я, дитя несчастья, не имею крова, что я должна жалко погибнуть, если ты не примешь меня к себе, как прежде! Но ты, может быть, и хочешь, чтобы я умерла, – так пусть это случится! Отнеси же меня хоть к фонтану, чтобы мой труп нашли не перед твоим домом, – а те каменные дельфины, возможно, будут сострадательнее тебя. Увы мне –

– какой холод!

Незнакомка поникла без чувств, и тут сердечная тоска и отчаяние ледяными клещами схватили и сдавили грудь Перегринуса. Дико вскричал он: «Будь что будет, я не могу иначе!» – поднял безжизненную, взял ее на руки и сильно дернул за колокольчик. Быстро пронесся Перегринус мимо привратника, отворившего ему дверь, и, вместо того чтобы, по обыкновению, тихо постучаться вверху, уже на лестнице стал он звать: «Алина – Алина – свету, свету!» – да так громко, что крики его отозвались во всех углах обширных сеней дома.

– Как? – что? – что такое? – что это значит? – говорила старая Алина, вытаращив глаза на то, как Перегринус высвобождал бесчувственную незнакомку из плаща и с нежной заботливостью укладывал ее на софу.

– Скорее, – восклицал он, – скорее же, Алина, затопи камин – чудодейственную эссенцию сюда – чаю – пуншу! – приготовь постель!

Но Алина не трогалась с места и, уставясь глазами на даму, продолжала повторять свое: «Как? что такое? что это значит?»

Тогда Перегринус стал рассказывать, что это – графиня, а может быть, даже и принцесса, которую он нашел у переплетчика Лэммерхирта, которая на улице упала в обморок, и он принужден был отнести ее домой, и, видя, что Алина все еще оставалась неподвижной, закричал, топнув ногой:

– Черт побери, огня, говорю я, чаю – чудодейственной эссенции!

Тут глаза старухи засверкали, будто слюда, а нос как бы засветился фосфорическим блеском. Она вытащила свою большую черную табакерку, раскрыла ее и с треском втянула в себя здоровенную понюшку. Прюделав это, она подбоченилась и заговорила насмешливым тоном:

– Смотрите пожалуйста, графиня, принцесса! да еще отыскалась у кого?

– у бедного переплетчика на Кальбах-ской улице! да еще падает в обморок на улице! Ого-го, знаю я хорошо, где достают таких разряженных дамочек в ночное время! Хорошенькие штучки, отменное поведение! Привести в честный дом распутную девку, да еще, в довершение греха, чертыхаться в рождественскую ночь. И чтобы я на старости лет да еще помогала в этом? Нет-с, господин Тис, поищите-ка себе другую; со мной ничего не выйдет, завтра же уйду от вас.

И с этими словами старуха вышла из комнаты и так хлопнула дверью, что все загремело и зазвенело.

Перегринус ломал себе руки в тоске и отчаянии: ни признака жизни не обнаруживалось в незнакомке. Но в ту минуту, как совсем растерявшийся Перегринус нашел наконец склянку с одеколоном и собирался уже осторожно потереть им виски своей дамы, как она вскочила с софы, свежая и веселая, и воскликнула:

– Наконец-то – наконец-то мы одни! Наконец, мой Перегринус, могу я сказать вам, почему я следовала за вами вплоть до жилища переплетчика Лэммерхирта, почему я не могла вас оставить в нынешнюю ночь. Перегринус! выдайте мне вашего пленника, которого вы держите взаперти вашей комнате. Я знаю, что вы вовсе не обязаны исполнять моей просьбы, что все зависит только от вашей доброты, но я знаю ваше доброе, чуткое сердце и потому прошу вас, милый, добрый Перегрин! выдайте мне вашего пленника!

– Кого, – спросил Перегринус в глубочайшем изумлении, – какого пленника? – кто может быть у меня в плену?

– Да, – продолжала незнакомка, схватив руку Перегринуса и нежно прижав ее к своей груди, – да, я верю, что только великая, благородная душа может отказаться от выгод, которые посланы ей милостивою судьбою, правда также то, что вы лишаете себя многого, чего вам легко было бы достигнуть, не выдав пленника – но! – подумайте, Перегрин, ведь вся участь Алины, вся ее жизнь зависит от обладания этим пленником, ведь...

– Если вы не хотите, – перебил ее Перегринус, – если вы не хотите, мой ангел, чтобы я принял все это за лихорадочный бред или чтобы я помешался тут же, на месте, то скажите же мне, о ком вы изволите говорить, о каком пленнике?

– Как, – возразила дама, – Перегрин, я вас не понимаю, уж не хотите ли вы отрицать, что он действительно попался к вам в плен... Ведь я же присутствовала, когда он, в то время как вы покупали охоту...

– Кто, – вне себя закричал Перегрин, – кто это он? Первый раз в жизни вижу я вас, сударыня, кто – вы? кто – этот он?

Но тут подавленная горем незнакомка упала к ногам Перегринуса и возопила, заливаясь горячими слезами:

– Перегрин, будь человечен, будь милосерд, отдай мне его! – отдай мне его!

А господин Перегринус кричал, перебивая ее:

– Я сойду с ума – я помешаюсь! Внезапно незнакомка вскочила. Она казалась теперь гораздо выше, глаза ее метали молнии, губы дрожали.

– А, варвар! – воскликнула она в исступлении. – Ты лишен сердца – ты неумолим – ты хочешь моей смерти, моей гибели – ты не отдаешь мне его! Нет – никогда – никогда – о я несчастная – я погибла – погибла. – И она бросилась вон из комнаты, и Перегрин слышал, как она сбегала по лестнице и ее пронзительные вопли раздавались по всему дому, пока внизу громко не хлопнула дверь.

Тогда воцарилась мертвая тишина, как в могиле.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ

Укротитель блох. – Печальная судьба принцессы Гамахеи в Фамагусте. – Неловкость гения Тетеля и примечательные микроскопические опыты и развлечения. – Прекрасная голландка и странное приключение молодого Георга Пепуша, бывшего иенского студента.

В то время во Франкфурте находился человек, занимавшийся престранным искусством.

Его называли укротителем блох на том основании, что ему удалось, разумеется не без затраты величайшего труда и усилий, приобщить этих маленьких зверьков культуре и обучить их разным ловким штукам.

С великим изумлением зрители наблюдали, как на гладко отполированном беломраморном столе блохи возили маленькие пушки, пороховые ящики, обозные фургоны, другие же прыгали подле с ружьями на плече, с патронташами за спиной, с саблями на боку. По команде укротителя выполняли они труднейшие эволюции, и все это казалось и веселей и живей, чем у настоящих больших солдат, потому что маршировка состояла в изящных антраша и прыжках, а повороты налево-направо – в ласкающих глаз пируэтах. Все войско обладало удивительным апломбом, а полководец казался в то же время и искусным балетмейстером. Но, пожалуй, еще красивее и удивительнее были маленькие золотые кареты с упряжкой в четыре, шесть и восемь блох. Кучерами и лакеями были еле заметные для глаза золотые жучки, а что сидело внутри карет, того нельзя было и различить.

Невольно вспоминался при этом экипаж феи Маб, который славный Меркуцио у Шекспира в «Ромео и Юлии» так прекрасно описывает, что можно заподозрить, не катался, этот экипаж не раз по его собственному носу.

Но только при обозрении стола в хорошую лупу искусство укротителя блох обнаруживалось в полной мере. Тогда только изумленному зрителю открывалась вся роскошь изящества упряжи, тонкая отделка оружия, блеск и чистота мундиров. Казалось совершенно непостижимым, каким инструментами пользовался укротитель блох, чтобы с такой чистотой и пропорциональностью изготовить некоторые мелкие подробности, как, например, шпоры, пуговицы и т. д., и рядом с этим казалась уже сущим пустяком мастерская работа портного, состоявшая, ни много ни мало, в том, чтобы сшить для блох по паре рейтуз в обтяжку, – причем труднейшей задачей была, конечно, примерка.

Так велико было стечение публики, что целый день зал укротителя блох был переполнен любопытными, которых не смущала и высокая входная плата. Но и по вечерам посетителей было много, даже, пожалуй, еще больше, так как тогда приходили и такие лица, которых даже не столько забавлял вся эта тончайшая работа, сколько повергало в изумления другое изделие укротителя, снискавшее ему особое внимание и уважение естествоиспытателей. Это был ночной микроскоп, который, как солнечный микроскоп днем, подобно волшебному фонарю, отбрасывал на белую стену изображение предмета с такой ясностью и отчетливостью, что не оставалось желать большего. Кроме того, укротитель блох торговал еще прекраснейшими микроскопами, за которые ему охотно платили большие деньги.

Случилось, что один молодой человек, по имени Георг Пепуш – благосклонный читатель скоро ближе с ним познакомится, – возымел раз желание посетить укротителя блох поздно вечером. Еще на лестнице донеслась до него перебранка, которая становилась все громче и громче, пока не разразилась наконец дикими криками и беснованием. Только что собирался Пепуш войти, как дверь зала с треском распахнулась, и в дикой сумятице, с бледными от ужасов лицами, устремилась на него толпа людей.

– Проклятый колдун, чертово отродье! в суд на него подам! вон его из города, обманщика, шарлатана! – кричали они, перебивая друг друга, в паническом страхе спеша в брата вон из дома.

Одного взгляда в зал было достаточно молодому Пепушу, чтобы обнаружить причину безумного ужаса, гнавшего отсюда людей. Вся комната была полна движением кишевших в ней гадких тварей. Блохи, жучки, паучки, коловратки, до чрезмерности увеличенные, вытягивали свои хоботки, ходили на своих длинных волосатых ножках, чудовищные муравьиные львы хватили и раздавливали своими зубчатыми клешнями мошек, которые защищались и бились длинными крылышками, а между ними извивались укусные вьюны, клейстерные угри, сторукие полипы, и изо всех промежутков глазели инфузории с искаженными человеческими лицами. В жизнь свою не видал Пепуш ничего отвратительнее. Глубокий ужас стал было овладевать и им, как вдруг что-то шершавое полетело ему в лицо и

обдало его целым облаком густой мучной пыли. Тут его ужас мигом прошел, потому что он тотчас же догадался, что шершавый предмет не мог быть ничем иным, как круглым напудренным париком укротителя блох, и так оно и было на самом деле.

Когда Пепуш вытер глаза от пудры, дикий рой отвратительных насекомых уже исчез. Укротитель блох, совершенно изнеможенный, сидел в кресле.

– Левенгук, – воскликнул Пепуш, – убедились ли вы теперь, Левенгук, к чему приводят ваши затеи? Вот вам ведь снова пришлось прибегнуть к вашим вассалам, чтобы избавиться от посетителей! Не так ли?

– Вы ли это, – проговорил укротитель блох слабым голосом, – вы ли это, добрый мой Пепуш? Ах, конец мне пришел, погибший я человек! Пепуш, я начинаю думать, что вы действительно желали мне добра и что я плохо сделал, не послушавшись ваших предостережений.

Когда Пепуш спокойно спросил его о том, что же такое произошло, укротитель блох повернулся со своим креслом к стене, закрыл лицо обеими руками и плача предложил Пепушу взять лупу и осмотреть в нее мраморную доску стола. Уже невооруженным глазом Пепуш заметил, что маленькие кареты, солдаты и пр. стояли и лежали как мертвые, не двигаясь, не шевелясь. Да и ученые блохи приняли, казалось, совсем другой вид. Посредством же лупы Пепуш очень скоро обнаружил, что больше уж не оставалось ни одной блохи, а все, что он принимал за них, были черные перечные зерна и фруктовые семечки, торчавшие из сбруй и из мундиров.

– Я не знаю, – начал укротитель блох в полной тоске и отчаянии, – я не знаю, какой злой дух ослепил меня до того, что я не успел заметить бегства моего войска раньше, чем все уже подошли к столу и вооружились лупами. Подумайте только, Пепуш! как все эти люди стали сперва ворчать, а затем впали в бешеный гнев. Они обвиняли меня в наглom надувательстве и, распаяясь все больше и больше, не слушая никаких извинений, хотели выместить все на мне. Что оставалось мне, чтобы спастись от их кулаков? Я быстро привел в действие большой микроскоп и напустил на ни тучу насекомых, от которых они пришли в ужас, как и подобает толпе.

– Однако, – спросил Пепуш, – однако скажите же мне, Левенгук, как это могло случиться, что вы, сами того не заметив, упустили вдруг ваше вымуштрованное, доказавшее свою верность войско?

– О, – стонал укротитель блох, – о, Пепуш! он покинул меня, он, кто только и делал меня властелином, он, злой изменник, виноват и в моей слепоте и во всем моем несчастье!

– Но разве я, – возразил Пепуш, – но разве я не предостерегал вас, уже давно, не пускаться на штуки, которые вы, я это знаю, не можете выполнить, не имея в своей власти мастера? А что эта власть, несмотря на все ваши старанья, оставалась шаткой – все-таки в этом вы только что убедились.

Затем Пепуш принялся разъяснять укротителю блох, что он решительно не понимает, почему все должно пойти прахом в его жизни, если он прекратит эти свои представления, ибо изобретение ночного микроскопа, равно как вообще его искусство в производстве микроскопических стекол достаточно упрочили его положение. Но укротитель блох возражал на это, что за этими представлениями стоят совершенные особые обстоятельства и для него отказаться от них значит отказаться от собственного своего бытия,

– Но где же Дертье Эльвердинк? – спросил тут Пепуш, перебивая укротителя блох.

– Где она, – завизжал укротитель, ломая себе руки, где Дертье Эльвердинк? Ушла, ушла невеста куда – исчезла. Убейте меня на месте, Пепуш! Я вижу, как гнев и ярость овладевают вами. Покончите со мною разом!

– Теперь вы видите, – заговорил Пепуш, насупившись, – теперь вы видите, к чему привела ваша глупость, ваши вздорные затеи. Кто дал вам право запираить бедную Дертье, как невольницу, да еще выставлять ее разряженную напоказ для приманки публики, как какое-то чудо природы? Зачем насильовали вы ее влечение и не позволяли ей отдать мне свою руку, хотя вы не могли не заметить, как искренне любим мы друг друга! Она бежала? Тем

лучше, по крайней мере она больше не в вашей власти, и если я не знаю сейчас где мне ее искать, то я все-таки убежден, что найду ее. Вот ваш парик, Левенгук, наденьте его и покоритесь вашей судьбе; это лучшее, что вы можете сделать.

Укротитель блох укрепил левой рукой парик на своей лысой голове, схватив в то же время правую Пепуша за руку.

– Пепуш, – заговорил он, – Пепуш, вы мой истинный друг; ибо вы единственный человек во всем Франкфурте, который знает, что я с тысяча семьсот двадцать пятого года лежу погребенный в старой дельфтской церкви, и никому этого не выдали, даже когда сердились на меня из-за Дертье Эльвердинк. Иногда мне и самому не верится, что я действительно тот самый Антон ван Левенгук, которого похоронили в Дельфте, но, созерцая свои труды и вспоминая свою жизнь, я вновь начинаю в том убеждаться, и тем мне приятнее поэтому, что об этом ничего не болтают. Теперь я вижу ясно, дражайший Пепуш, что неправильно поступал по отношению к Дертье Эльвердинк, хотя и совсем в ином смысле, чем вы изволите полагать. Я был прав, считая ваше домогательство ее руки глупой и бесцельной прихотью, не прав же, что не был с вами вполне откровенен и не сообщил вам то, что, собственно, представляет собой Дертье Эльвердинк. Тогда бы вы сами поняли и одобрили мои старанья выбить у вас из головы желания, исполнение которых принесло бы вам неминуемую гибель. Пепуш! подсаживайтесь ко мне, и я расскажу вам удивительную историю!

– Пожалуй, – отозвался Пепуш, бросая ядовитый взгляд на укротителя блох и садясь против него в мягкое кресло.

– Так как вы, мой дорогой друг Пепуш, – начал укротитель блох, – так как вы хорошо осведомлены в истории, то вы знаете, без сомнения, что король Секакис много лет жил в близких отношениях с царицей цветов и что плодом этой любви была прелестнейшая принцесса Гамахея. Гораздо менее известно, и я также не могу вам сообщить, – каким образом принцесса Гамахея появилась в Фамагусте. Многие утверждают, и не без оснований, что принцесса должна была скрываться в Фамагусте от противного принца пиявок, заклятого врага царицы цветов.

Но к делу! – в Фамагусте случилось однажды, что принцесса прогуливалась, наслаждаясь вечерней прохладой, и забрела в тенистый кипарисовый лесок. Зачарованная ласкающим лепетом вечернего ветерка, журчанием ручья, мелодическим щебетом птиц, принцесса прилегла на мягкий душистый мох и вскоре погрузилась в глубокий сон. Но как Раз тот враг, от которого она хотела скрыться, гадкий принц пиявок высунул тут свою голову из тинистой лужи, увидел принцессу и до такой степени влюбился в спящую красавицу, что не смог побороть влечения ее поцеловать. Тихо подполз он к ней и стал целовать ее за левым ухом. А вы, конечно, знаете, друг мой Пепуш, что дама, которую поцелует принц пиявок, погибла, так как он злейший в мире кровопийца. И так случилось, что принц пиявок зацеловал принцессу, пока не отлетело от нее последнее дыхание жизни. Пресыщенный и опьяненный, повалился он тогда на мох, и уж его слугам, поспешившим выползти к нему из тины, пришлось его водворить домой. Напрасно корень мандрагоры выбился из земли и припал к ране, нацелованной коварны принцем пиявок, напрасно все цветы подняли свои головки на горестный вопль корня и вторили ему в безутешных жалобах! Случилось тут гению Тетелю идти как раз этой дорогой; он также глубоко растрогался красой Гамахеи и несчастной ее смертью. Он взял принцессу на руки, прижал ее к своей груди, старался вдохнуть в нее жизнь своим дыханием, но она не просыпалась от смертного сна. Тут гений Тетель увидел отвратительного принца пиявок, которого (так он отяжелел и так был пьян) слуги никак не могли втащить во дворец; пылая гневом, бросил он в него полную горсть соли; гадина тотчас же изверг из себя всю пурпурную влагу, что высосал из принцессы Гамахеи, и позорно издох в судорожных корчах. Все цветы, стоявшие вокруг, окунули свои одежды в эту влагу, окрасив их на вечную память об умерщвленной принцессе в такой дивный красный цвет, какой не составит ни одному живописцу на свете. Вы знаете, Пепуш, что самые красивые пурпурные гвоздики, амариллисы и левкои происходят как раз из того

кипарисового леса, где принц пиявок зацеловал до смерти прекрасную Гамахею. Гений Тетель хотел уже удалиться, ибо ему до наступления ночи много было дела в Самарканде, но бросил еще один взгляд на принцессу и остановился зачарованный, взирая и нее с глубокой грустью. Вдруг его осенила какая-то мысль. Вместо того чтобы продолжать свой путь, взял он принцессу на руки и воспарил вместе с нею высоко в воздух.

В это время два мудреца, один из которых, не стану скрывать, был ваш покорный слуга, наблюдали с галереи высокой башни течение звезд. Высоко над собой они заметили гения Тетеля с принцессой Гамахеей, и в то же мгновение одному из них пришла мысль... Впрочем, это не относится к делу! Оба мага узнали гения Тетеля, но не принцессу, и стали ломать себе голову, что могло означать это явление, тщетно стараясь придумать сему какое-нибудь правдоподобное объяснение.

Но вскоре известие о несчастной судьбе принцессы Гамахеи распространилось по всей Фамагусте, и тогда оба мага сумели себе разъяснить появление гения Тетеля с девицей на руках. Они предположили, что гений Тетель, должно быть, нашел какое-нибудь средство вернуть к жизни принцессу, и решили навести о том справки в Самарканде, куда, по их наблюдениям, очевидно, направил он свой полет. Но в Самарканде о принцессе не было ни слуху ни духу.

Прошло много лет, оба мага рассорились между собой, как-то тем чаще случается между учеными мужами, чем они ученее, и только о самых замечательных своих открытиях сообщали они друг другу по старой привычке. Вы не забыли, Пепуш, что один из магов – я сам. Итак, немало меня изумило одно сообщение моего коллеги, содержавшее самые поразительные, а вместе с тем и самые отрадные сведения, какие только можно было бы вообразить, о принцессе Гамахее. Дело в следующем: коллега мой получил от одного своего ученого друга из Самарканда несколько превосходных редкостных тюльпанов, и в таком свежем виде, как будто они только что были срезаны со стебля. Они были нужны ему преимущественно для микроскопического исследования внутренних их частей и особенно цветочной пыли. С этой целью он разрезал один прекрасный желто-лиловый тюльпан и открыл внутри его чашечки маленькое инородное зернышко, обратившее на себя особое его внимание. Каково же было его изумление, когда при помощи лупы он ясно разглядел, что маленькое зернышко было не чем иным, как принцессой Гамахеей, которая, лежа в цветочной пыли тюльпанной чашечки, казалось, покоилась тихим и сладким сном.

Как ни велико было расстояние, отделявшее меня от моего коллеги, я тотчас же снаряжился в путь и поспешил к нему. Меж тем он приостановил все свои операции над цветком, желая доставить мне удовольствие посмотреть на принцессу в том виде, как она открылась впервые его взгляду, а может быть, и опасаясь, как бы не попортить чего, работая на свой страх. Я сразу же убедился в полной правильности наблюдений моего коллеги и, так же как и он, твердо верил, что принцессу можно пробудить и возвратить ей прежний облик. Высокий дух, обитающий в нас, вскоре открыл нам верные средства к тому. Вы, друг мой Пепуш, понимаете очень мало, а в сущности, даже и вовсе ничего не понимаете в нашей науке, а потому было бы совершенно лишним описывать вам разнообразные операции, которые мы предприняли для достижения нашей цели. Достаточно вам сказать, что при помощи ловкого применения различных стекол, приготовленных по большей части мною самим, нам посчастливилось только вынуть принцессу невредимой из цветочной пыли, но и вырастить ее так, что вскоре она достигла своего естественного роста. (Не хватало теперь ей только жизни, и возможность ее возвращения зависела от последней и самой трудной операции.) Мы отразили ее образ посредством великолепного Куффова солнечного микроскопа и ловко отдели это изображение от белой стены безо всякого для него вреда. Едва только ее образ свободно поплыл в воздухе, он точно молния влетел в стекло, которое разбилось на тысячи кусков. Принцесса же стояла перед нами жива и невредима. Мы вскрикнули от радости, но каков же был наш ужас, когда мы заметили, что ее кровообращение остановилось как раз там, куда поцеловал ее принц пиявок. Она была уже к обмороку, как вдруг мы увидели, что в самом том местечке левым ухом

появилась маленькая черная точка и тут же опять исчезла. Кровообращение сразу восстановилось, принцесса пришла в себя, и наше дело увенчалось успехом.

Мы оба, я и мой уважаемый коллега, очень хорошо понимали, какое неоценимое сокровище представляет собой принцесса, и каждый из нас старался поэтому присвоить себе, полагая, что имеет на нее больше прав, чем другой. Коллега мой приводил тот довод, что тюльпан, в чашечке которого была найдена принцесса, был его собственностью и он первый сделал открытие, которое сообщил мне, так меня следует рассматривать лишь как помощника, не могущего претендовать на самое произведение как награду подсобное участие в работе. Я, со своей стороны, настаивал, что я изобрел последнюю труднейшую операцию, которая вернула принцессе жизнь, и при выполнении ее мой коллега лишь помогал, почему, хотя бы он даже имел право на владение эмбрионом в цветочной пыли, живое существо принадлежит мне. Мы спорили много часов подряд, пока наконец, осипнув от крика, не пришли к полюбовному соглашению. Коллега предоставил мне принцессу, взамен чего я ему вручил одно очень важное и таинственное стекло. Вот это самое стекло и является причиной нашей теперешней непримиримой вражды. Мой коллега утверждает, что я обманным образом утаил это стекло; но это наглая, бесстыдная ложь, и хотя я действительно знаю, что стекло при вручении ему пропало, однако же могу честью и совестью заверить, что я в том не виновен и совершенно не понимаю, как это могло случиться. Да и стекло-то это вовсе не такое маленькое, разве что в восемь раз меньше порохового зернышка.

Видите, друг мой Пепуш, теперь я доверил вам всю мою тайну, теперь вы знаете, что Дертье Эльвердинк не кто иная, как возвращенная к жизни принцесса Гамахея, теперь вы понимаете, что простому смертному, как вы, такой высокий мистический союз вовсе не...

– Стойте, – перебил Георг Пепуш укротителя блох с несколько сатанинской улыбкой, – стойте, одно доверие стоит другого; так вот, со своей стороны могу открыться вам: все то, что вы мне рассказали, я уже знал раньше и лучше, чем вы. Не могу достаточно надивиться и вашей ограниченности, и вашему глупому самомнению. Узнайте же то, что вы давно должны были бы знать, если б не так плохо обстояло дело с вашей наукой, за исключением разве умения шлифовать стекла, узнайте, что я сам – не кто иной, как чертополох Цехерит, стоявший там, где принцесса Гамахея склонила свою голову, и о котором вы сочли нужным вовсе умолчать.

– Пепуш, в уме ли вы? – воскликнул укротитель блох. – Чертополох Цехерит цветет в далекой Индии – в той прекрасной долине, окруженной высокими горами, где собираются по временам мудрейшие маги мира. Архивариус Линдхорст может дать вам об этом самые точные сведения. И вы, которого я помню еще малышом в бархатной курточке, бегавшим в школу, которого я знал и иенским студентом, отощавшим, пожелтевшим от ученья и голода, вы заявляете, что вы – чертополох Цехерит! Рассказывайте это кому другому, а меня увольте.

– Какой же вы, – засмеялся Пепуш, – какой же вы мудрец, Левенгук! Ну, думайте о моей персоне что вам угодно, но не будьте же настолько глупы, не отрицайте, что чертополох Цехерит в то же самое мгновение, как коснулось его сладкое дыхание Гамахеи, расцвел пламенной, страстной любовью, когда же он прикоснулся к виску прелестной принцессы, то и она полюбила его в сладкой своей дремоте. Слишком поздно заметил чертополох принца пиявок, а то бы он мигом умертвил его своими колючками. И все-таки с помощью корня мандрагоры ему удалось бы вернуть принцессу к жизни, не явись тут этот несуразный гений Тетель со своими неуклюжими попытками спасти ее. Правда и то, что в гневе Тетель запустил руку в солонку, которую он во время путешествий носил за поясом, как Пантагрюэль свою кадку с пряностями, и бросил в принца пиявок добрую пригоршню соли, но уже совершенная ложь, что он его тем умертвил. Вся соль попала в тину, ни одно ее зернышко не коснулось принца пиявок, которого умертвил чертополох Цехерит своими колючками, тем отомстил за смерть принцессы и обрек самого себя на смерть. Один только гений Тетель, вмешавшийся в дело, которое вовсе его не касалось, виноват в том, что

принцесса так долго покоилась в цветочной пыли; чертополох Цехерит очнулся гораздо раньше. Ибо смерть их обоих была лишь оцепенением цветочного сна, от коего должны были вновь пробудиться к жизни, хотя и в другом образе. И вы преисполните меру всех ваших грубых заблуждений, ежели вздумаете полагать, будто принцесса Гамах была точь-в-точь такова, какова теперь Дертье Эльвердин и будто вы, и никто иной, возвратили ей жизнь. С вами случилось то же, мой добрейший Левенгук, что с неловким слугой в поистине примечательной историй о трех апельсинах, который освободил из них двух дев, не озаботившись предварительно средствами поддержать их жизнь, почему они погибли на его глазах самым жалостным образом. Нет, не вы, а тот, кто бежал от вас и чью потерю вы так сильно чувствуете и оплакиваете, вот кто довершил дело, так неловко вами начатое.

– А, – совершенно вне себя возопил укротитель блох, – а, мое предчувствие! Но вы-то, Пепуш, вы, которому я сделал столько добра, вы оказываетесь моим злейшим, жесточайшим врагом, я вижу это ясно. Вместо того чтобы дать и совет, вместо того чтобы помочь в моем несчастье, вы угощаете меня какой-то неуместной дурацкой белибердой.

– Да падет эта белиберда на вашу голову, – вскричал Пепуш в совершенной ярости, – вы еще раскаетесь, да будет поздно, самонадеянный шарлатан! Иду искать Дертье Эльвердинк. А чтобы вы больше не дурачили честных людей...

И Пепуш схватился за винт, приводивший в движение весь механизм микроскопа.

– Убейте лучше меня на месте! – взревел укротитель блох, но в это мгновение все затрещало, и укротитель без чувств повалился на землю.

«Почему такое, – говорил себе Георг Пепуш, вышедши на улицу, – почему такое человек, имеющий прекрасную теплую комнату и мягкую постель, вдруг рыскает по улицам ночью в дикую бурю и дождь? Потому что он забыл ключ от дома и вдобавок еще его влечет любовь и сумасбродное желание». Так должен был он ответить самому себе. Действительно, все предприятие его показалось ему теперь сущим сумасбродством. Он вспомнил мгновение, когда в первый раз увидел Дертье Эльвердинк.

Несколько лет тому назад укротитель блох давал свои представления в Берлине и пользовался немалым успехом, пока они привлекали своей новизной. Вскоре, однако, публика пресытилась зрелищем ученых и муштрованных блох, портняжная, шорная, седельная, оружейная работа на столь маленьких персон перестала казаться уж такой удивительной – хотя сначала много толковали о непостижимости, даже о волшебстве всего этого, – и укротитель блох, казалось, был обречен на полное забвение. Но вдруг распространился слух, что какая-то племянница укротителя, никогда до сих пор не показывавшаяся, стала присутствовать на представлениях. Племянница же эта такая красивая и очаровательная девица, да еще так прелестно наряжается, что и рассказать невозможно. Толпа молодых модников, которые, как первые скрипки в оркестре, задают тон всему обществу, устремилась на сеансы укротителя, и так как свет всегда ударяется в ту или другую крайность, то племянница укротителя вскоре прослыла невиданным чудом. Посещать укротителя блох стало признаком хорошего тона, кто не видал его племянницы, не мог принять участие в разговоре, дело укротителя пошло на лад. Никто не мог только примириться с именем Дертье, и так как в это самое время несравненная Бетман в роли королевы Голконды поражала всех высоким изяществом, неотразимой привлекательностью, женственной нежностью, какая только свойственна прекрасному полу, и казалась идеалом того несказанного обаяния, которым женское существо может обворожить всех и вся, то и голландку наименовали Алиной.

В это время прибыл в Берлин Георг Пепуш; красота племянницы Левенгука была предметом злободневных разговоров. Так и за общим столом гостиницы, где остановился Пепуш, только и говорили что о маленьком прелестном диве, восхищающем не только мужчин – старых и молодых, но даже и женщин. К Пепушу пристали с тем, чтобы он немедленно же отправлялся смотреть прекрасную голландку, если не хочет отстать от Берлина. Пепуш обладал раздражительным, меланхолическим темпераментом; в каждое наслаждение примешивался для него горький привкус, проистекающий, несомненно, из того

черного стигийского ручейка, что струится сквозь всю нашу жизнь, и это делало его мрачным, замкнутым и часто несправедливым к окружающим. Понятно поэтому, что Пепуш был не большим охотником бегать за хорошенькими девушками, но как-никак он все-таки направил свои стопы к укротителю блох не столько ради опасно чуда, сколько желая убедиться в справедливости свое предвзятого мнения, что и здесь, как почти всегда в жизни, людей морочит лишь какое-то странное ослепление. Голландку он нашел очень красивой и миловидной, но, взирая на нее, не мог удержаться от самодовольной улыбки: его пронизательность не обманула его, и он уже вперед догадался, что эта малютка могла вскружить лишь от природы расшатанную голову.

Красавица держала себя легко и непринужденно, как это свойственно лицам, получившим тончайшее светское в питание, и прекрасно владела собой; эта милая крошка умела привлекать к себе и в то же время удерживать в граню деликатного обхождения толпу поклонников, осаждавшую ее со всех сторон; когда она с очаровательной кокетливостью доверчиво протягивала кончик своего пальца, у них не было духу схватить его.

На Пепуша как на незнакомца никто не обращал внимания, и он мог вдоволь насмотреться на красавицу. Но дольше он вглядывался в милое личико голландки, тем более пробуждалось в глубине его души какое-то глухое воспоминание, как будто он уже где-то ее видел, хотя и в совершен другой обстановке и в ином одеянии, да и сам он будто имел тогда совсем иной облик. Тщетно старался он довести эти воспоминания до ясного сознания, хотя все более и более убеждался в том, что он действительно уже видел когда-то малютку. Кровь бросилась ему в лицо, когда вдруг наконец кто-то тихонько толкнул его и прошептал на ухо: «Ну что, господин философ, не правда ли, и вас поразила молния?» То был его сосед по обеденному столу в гостинице, которому он заявил, что считает этот поголовный экстаз за странное помешательство, которое так же быстро пройдет, как и возникло.

Тут Пепуш заметил, что, покуда он не спускал глаз с малютки, зал опустел и последние гости направлялись к выходу. Голландка только теперь, казалось, обратила на него внимание и приветливо ему поклонилась.

Голландка не выходила из головы Пепуша; целую ночь напролет терзался он в тщетных стараниях напасть на забытого воспоминания. Он рассудил тогда совершенно справедливо, что только созерцание красавицы может навести его на забытый след, и не преминул на другой же день отправиться вновь к укротителю блох, а затем и в следующие дни по два, по три часа кряду глазел на прекрасную Дертье Эльвердинк.

Если человек не может отделаться от мысли о привлекательной женщине, так или иначе обратившей на себя его внимание, то он уже сделал первый шаг к любви; так и Пепуш» воображая, что он только старается доискаться до какого-то темного своего воспоминания, в сущности был уже по уши влюблен в прекрасную голландку.

Кого теперь могли занимать блохи? Голландка одержала над ними блестящую победу, сосредоточив общее внимание на своей персоне. Укротитель блох сам чувствовал, что отныне он со своими блохами стал играть довольно глупую роль; поэтому он до поры до времени припрятал войско и придал иной вид своим представлениям, поручив в них главную роль уже своей прекрасной племяннице.

Ему пришла счастливая мысль устроить вечерние беседы, на которые публика абонировалась за довольно высокую плату. На этих вечерах он сначала показывал кое-какие любопытные оптические фокусы, а затем всецело предоставлял своей племяннице занимать общество. Красавица блистала в полной мере светскими дарованиями; малейшим перерывом в разговоре пользовалась она, чтобы увлечь общество своим пением, сама себе аккомпанируя на гитаре. Голос у нее был не сильный, манера не безупречная, часто даже неправильная, но нежность звука, ясность и чистота пения были в полной гармонии со всем ее прелестным существом; когда же из-под черных шелковых ресниц сиял на слушателей томный ее взор, как влажный лунный луч, не одно дыхание стеснялось в груди и замолкали тогда даже самые упрямые педанты.

На этих вечерних беседах Пепуш ревностно продолжал свои исследования, то есть

глазел на голландку в течение двух часов, а затем покидал зал вместе с прочими посетителями.

Случилось, что однажды, стоя к голландке ближе, чем обыкновенно, он явственно услышал, как она произнесла, обращаясь к какому-то молодому человеку: «Скажите, кто это безжизненное привидение, которое каждый вечер часами не спускает с меня глаз, а затем исчезает, не проронив ни слова?»

Пепуш почувствовал себя глубоко оскорбленным и, вернувшись домой, так бесновался и шумел в своей комнате, что никто из друзей не узнал бы его в этом неистовом состоянии. Он клялся и божился, что никогда больше не взглянет на негодную голландку, однако не преминул на следующий же вечер в обычный час оказаться у Левенгука и глазет прекрасную Дертье еще упорнее, чем раньше, если только это возможно. Правда, уже на лестнице ему стало очень не по себе при мысли, что он подымается вдруг опять по той лестнице, и недолго думая он принял мудрое решение держаться по крайней мере как можно дальше от этого соблазнительного существа. Действительно, он так и поступил, забившись в дальний угол зала; однако попытка потупить взор не удалась совершенно, и, как уже сказано, он смотрел прямо в глаза голландке еще пристальнее, чем прежде.

Он сам не знал, как это произошло, но Дертье Эльвердинк вдруг очутилась вплотную рядом с ним в углу.

Сладостной мелодией зазвучал ее голосок, когда она говорила:

– Я не помню, чтобы я видела вас где-нибудь до Берлина, но почему же так много знакомого для меня в ваших чертах, во всем вашем облике? У меня такое чувство, будто очень давние времена нас связывала тесная дружба, но было то в очень далекой стране и при каких-то особых, странных обстоятельствах. Прошу вас, выведите меня из этой неизвестности, и, если только меня не обманывает одно внешнее сходство, возобновим те дружественные отношения, которые, как дивный сон, покоятся в смутных моих воспоминаниях.

Престранно себя чувствовал господин Георг Пепуш при этих словах прекрасной голландки. Грудь его стеснилась, голова горела, а все тело затряслось как в лихорадке. Если это и означало, что господин Пепуш был влюблен по уши в голландку, то тут была все-таки и другая причина расстроенного состояния, лишившего его языка, да и разума. Только то Дертье Эльвердинк заговорила о том, что ей сдается, будто много лет назад она уже встречалась с ним, в его душе вдруг словно как в волшебном фонаре, всплыла картина, и он увидел далекое, далекое прошлое, предшествовавшее даже тому времени, когда он впервые вкусил материнского молока, и в этом прошлом жил как он сам, так и Дертье Эльвердинк. В это мгновение как молния сверкнуло в нем воспоминание, которое напряженная работа мысли облекла наконец в ясный и отчетливый образ; воспоминание это состояло в том, Дертье Эльвердинк – принцесса Гамахея, дочь короля Секакиса, которую он любил в те давние времена, когда был еще чертополохом Цехеритом. Хорошо, что он не стал особенно распространяться в обществе об этой мысли, а то, пожалуй, сочли бы его за сумасшедшего и посадили бы куда следует, хотя навязчивая идея помешанного может быть часто не чем иным, как иронией бытия, предшествовавшего настоящему.

– Но, боже мой, вы точно онемели! – проговорила малютка, дотронувшись своим маленьким пальчиком до груди Георга. Но из кончика ее пальца электрический ток проник до самого сердца Георга, и он очнулся от своего оцепенения. В экстазе схватил он руку малютки и осыпал ее горячими поцелуями, восклицая: «Небесное, божественное создание» – и т. д. Благосклонный читатель легко может вообразить все прочее, что восклицал господин Георг Пепуш в эту минуту.

Достаточно сказать, что малютка приняла любовные клятвы Георга так благосклонно, как только мог он желать, и роковая минута в углу Левенгукова зала породила взаимную любовь, которая сначала вознесла добрейшего Георга Пепуша до небес, а затем для разнообразия низвергла его в ад. Пепуш был темперамента меланхолического, да к тому же еще ворчлив и подозрителен, а поведение Дертье давало ему немало поводов для самой

мелочной ревности. Но как раз эта-то ревность и подзадоривала лукавую Дертье, и ей доставляло особое удовольствие изобретать все новые способы, как бы помучить бедного Георга Пепуша.

Но все имеет свой предел, и давно подавляемая ярость Пепуша вырвалась наконец наружу. Однажды он поведал Дертье о тех чудесных временах, когда, будучи чертополохом Цехеритом, он так нежно любил прекрасную голландку, бывшую тогда дочерью короля Секакиса; он со всем пылом страсти доказывал, что уже борьба с принцем пиявок дала ему неоспоримейшее право на руку Дертье. Дертье Эльвердинк уверяла, что и она хорошо помнит то время, те их отношения и что воспоминание о них впервые вновь посетило ее Душу, когда Пепуш взглянул на нее взглядом чертополоха. Малютка так вдохновенно, так мило говорила обо всех этих Дивных вещах, о любви своей к чертополоху Цехериту, коему было предназначено судьбой учиться в Иене и затем вновь найти принцессу Гамахею в Берлине, что господин Георг Пепуш мнил себя в блаженном краю Эльдорадо. Нежная пара стояла у окна, и малютка не препятствовала влюбленному Пепушу обхватить ее стан рукой. В такой непринужденной позе болтали они друг с другом, потому что речи о чудесах Фамагусты перешли у них в самую ласковую болтовню. В эту Минуту проходил мимо красивый гусарский офицер в новеньком с иголки мундире и весьма приветливо поклонился малютке, знакомой ему по вечерним собраниям. Дертье стояла с полузакрытыми глазами, отворотив от улицы свою головку; трудно было предположить, чтобы она могла заметить офицера, но могущественны чары нового блестящего мундира! Встрепенулась ли малютка от многозначительного бряцания сабли о каменные плиты тротуара, но только она ясно и светло раскрыла свои глазки, высвободилась из объятий Георга, отворила окно, послала офицеру воздушный поцелуй и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом.

– Гамахея, – вскричал совершенно вне себя чертополох Цехерит, – Гамахея, что же это такое? Ты издеваешься надо мной? Такова верность, в которой ты клялась твоему чертополоху?

Малютка повернулась к нему на каблуках и, разразившись громким смехом, воскликнула:

– Бросьте, бросьте, Георг! Если я и дочь достойного старого короля Секакиса, если вы чертополох Цехерит, но ведь и тот прелестный офицер не кто иной, как гений Тетель, который мне, по правде говоря, куда больше нравится, чем мрачный, колючий чертополох.

Тут голландка порхнула за дверь, а Георг Пепуш, как следовало ожидать, в состоянии неистового отчаяния бросился вниз по лестнице вон из дому, как будто за ним гналась тысяча чертей. Судьбе было угодно, чтобы на улице Георг встретил одного из своих друзей, выезжавшего из города в почтовой коляске.

Стойте, я еду с вами! – воскликнул чертополох Цехерит, слетал домой, надел плащ, сунул в карман денег, отдал ключи от комнаты хозяйке, сел в коляску и укатил со своим другом.

Однако, несмотря на этот разрыв, любовь к прекрасной голландке вовсе не угасла в груди Георга; точно так же мог он заставить себя отказаться от справедливых притязаний на руку и сердце Гамахеи, которые он заявлял в качестве чертополоха Цехерита. И он возобновил эти свои притязания, встретившись через несколько лет с Левенгуком в Гааге, а как он ревностно их отстаивал затем во Франкфурте, благосклонному склонному читателю уже известно.

Безутешный бегал господин Георг Пепуш ночью по улицам, как вдруг колеблющийся и необыкновенно яркий свет, падавший сквозь щель в одной из ставен нижнего этажа большого дома, привлек его внимание. Он подумал, что комнате пожар, и поэтому вспрыгнул на подоконник, ухватившись за оконную решетку, чтобы взглянуть внутрь. Его удивлению не было границ при виде того, что предстало его глазам.

Веселый, яркий огонь пылал в камине, находившемся против самого окна; перед камином же сидела или, вернее, лежала в широком дедовском кресле, как ангел разряженная, маленькая голландка. Она, казалось, спала, в то время как очень старый высохший человек с

очками на носу опустил перед огнем на колени и глядел в горшок, в котором варился, вероятно, какой-то напиток.

Пепуш хотел взобраться еще повыше, чтобы получше рассмотреть эту группу, но в ту же минуту почувствовал, что кто-то его схватил за ногу и с силой тащит вниз. Грубый голос воскликнул: «Попался, мошенник! Ну и хорош, гусь! В тюрьму его, негодяя!» То был ночной сторож, который, увидав, как Георг карабкался на окно, вообразил, что он хочет ворваться в дом с целью грабежа. Несмотря ни на какие протесты господина Георга Пепуша, сторож потащил его за собой, при содействии подоспевшего дозора, и таким веселым манером его ночное странствие окончилось в караульной.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Появление маленького чудовища. – Дальнейшие открытия о судьбе принцессы Гамахеи. – Замечательный дружеский союз, который заключает господин Перегринус Тис, и разъяснение, кто такой старый господин, снимающий квартиру в его доме. – Удивительное действие одного довольно маленького микроскопического стекла. – Неожиданный арест героя всей повести.

Кому случится пережить события, подобные тем, что пережил господин Перегринус Тис, и кто находится в таком же состоянии духа, как он в тот знаменательный вечер, тому уж не удастся хорошо заснуть. Господин Перегринус беспокойно ворочался на своем ложе, и чуть только овладевали им Дремотные грезы, обыкновенно предшествующие сну, как снова чувствовал он в своих объятиях маленькое милое существо и на губах – жаркие поцелуи. Он вскакивал на постели, и ему чудилось, будто и наяву все еще слышится ласкающий голос Алины. В страстном томлении мечтал он, что она все еще здесь, и в то же время боялся, как бы она вдруг не вошла и не опутала его неразрывною сетью. Борьба противоречивых чувств сжимала ему грудь и вместе с тем наполняла ее сладостной, еще не изведанной им тревогой.

«Не спите, Перегринус, не спите, благородный человек, мне необходимо скорее переговорить с вами! – шептал кто-то совсем близко от Перегринуса.

– Не спите! не спите!» – не умолкал шепот, пока Перегринус не открыл наконец глаза, которые держал до тех пор закрытыми только для того, чтобы яснее видеть образ прекрасной Алины.

При свете ночника он заметил маленькое чудовище, едва ли в пядь величиной, сидевшее на его белом одеяле. В первую минуту он испугался его, но потом смело протянул к нему руку, чтобы убедиться, не обманывает ли его воображение. Но маленького чудовища уж и след простыл.

Если можно было обойтись без точного описания наружности прекрасной Алины, Дертье Эльвердинк, или принцессы Гамахеи, – благосклонному читателю ведь давно уже известно, что это одно и то же лицо, только мнимо распавшееся на три лица, – то уже совершенно необходимо дать подробнейшее описание маленькому чудовищу, которое сидело на одеяле господина Перегринуса и навело на него некоторый ужас.

Как уже упомянуто, тварь эта была в пядь длиною; в птичьей голове ее торчали два круглых блестящих глаза, а из воробьиного клюва высывалось еще нечто длинное и острое, наподобие тонкой рапиры, из лба же над самым клювом выступали два рога. Шея, также птицеобразная, начиналась непосредственно под головой, но, постепенно утолщаясь и не меняя своей формы, переходила в безобразное туловище, видом своим походившее несколько на орех и покрытое темно-коричневыми чешуйками, как у армадила. Но удивительнее и своеобразнее всего было сложение рук и ног. Первые имели по два сустава и выходили из щек вплотную около клюва. Непосредственно под ними находилась одна пара ног, затем еще другая, обе двухсуставчатые, как и руки. Эта последняя пара ног имела, по видимому, особенно важное значение для маленькой твари, ибо, уже не говоря об их значительно большей длине и мускулистости, обуты они были в превосходные золотые сапожки с бриллиантовыми шпорами.

Как было сказано, маленькое чудовище бесследно исчезло, чуть только Перегринус протянул к нему руку, и он, конечно, счел бы все это за обман своего возбужденного воображения, если бы сейчас же вслед за тем в нижнем углу кровати не послышался тихий-тихий голос:

– Боже мой, Перегринус Тис, неужели же я в вас ошибся. Вчера еще вы так благородно со мной поступили, и вот теперь, когда я собираюсь доказать вам свою благодарность, вы хватаете меня рукой убийцы? Но, может быть, вам не понравилась моя наружность, и я сделал промах, показавшись вам в микроскопическом увеличении, дабы вы меня заметили, что вовсе не так просто, как вы могли бы думать. Я ведь все по-прежнему сижу на вашем белом одеяле, а вы меня совсем не видите. Не обижайтесь, Перегринус, но ваши зрительные нервы, по правде сказать, немножко грубы для моей тонкой талии. Обещайте же мне, что вы меня не тронете и не предпримете против меня никаких враждебных действий, тогда я пододвинусь к вам поближе и порасскажу кое-что, о чем узнать вам далеко не лишне.

– Скажите мне, – отвечал Перегринус Тис, – скажите мне прежде всего, кто вы такой, мой добрый незнакомый друг, все остальное уладится. Впрочем, я наперед могу вас уверить, что моей природе не свойственно ничто враждебное и впредь я буду поступать с вами столь же благородно; хотя я все-таки никак не возьму в толк, каким образом я уже имел случай доказать вам мое благородство. Но только сохраняйте уж лучше ваше инкогнито, так как ваша наружность не могу сказать, чтобы была благоприятна.

– Вы благородный человек, – продолжал голос, немного откашлявшись, – вы благородный человек, господин Перегринус, – повторяю это с удовольствием, – но вы не слишком далеко ушли в науках и вообще довольно неопытны, а то бы вы узнали меня с первого взгляда. Я мог бы немного похвастаться, я мог бы сказать, что я – один из могущественных королей и властвую над многими, многими миллионами подданных. Но по прирожденной скромности и потому еще, что самое слово «король!» не совсем идет сюда, я воздержусь от этого. У народа, во главе которого я имею честь стоять, республиканский образ правления. Сенат, состоящий ради удобства голосования не свыше как из сорока пяти тысяч девятиста девяноста девяти членов, заступает место правителя, председатель же сената носит название «мастера», так как он должен обладать мастерством во всех отраслях деятельности. Без дальних околичностей я и должен открыть вам теперь, что с вами говорит сейчас не кто иной, как сам мастер-блоха, сам повелитель блох, а вы его и не замечаете. Что вы знакомы с моим народом, в том я нимало не сомневаюсь: ведь не раз, уважаемый, приходилось вам освежать и подкреплять вашей собственной кровью того или другого из моих соплеменников. Поэтому вам должно быть хорошо известно, что народ мой одушевлен почти неукротимым свободолюбием и состоит, собственно, из одних только легкомысленных прыгунов, которым склонность их к непрестанному скаканию не дает занять никакого солидного положения. Вы видите, какие требуются дарования, чтобы управлять таким народом, господин Перегринус, и вы должны теперь проникнуться ко мне особым почтением. Подтвердите мне это, господин Перегринус, прежде чем я продолжу свою речь.

Несколько мгновений господину Перегринусу Тису казалось, будто в голове его вертится большое мельничное колесо, движимое шумящими волнами. Но постепенно он успокоился, подумав, что появление незнакомой дамы у переплетчика Лэммерхирта было не менее чудесно, чем то, что сейчас происходит, и даже это последнее происшествие, быть может, является лишь прямым продолжением странной истории, в которую его впутали.

Господин Перегринус объяснил мастеру-блохе, что он уже теперь ввиду его исключительных дарований уважает его чрезвычайно и горит тем большим желанием услышать продолжение его рассказа, что голос его звучит весьма приятно, а особая нежность речи заставляет предполагать тонкое, деликатное телосложение.

– Благодарю вас, – продолжал мастер-блоха, – благодарю вас, дражайший господин Тис, за ваше доброе расположение и надеюсь скоро доказать вам, что вы не ошиблись во мне. Но чтобы вы поняли, дорогой друг, какую вы оказали мне услугу, необходимо

сообщить вам свою полную биографию. Итак, слушайте! Отец мой был славный... однако ж мне приходит в голову, что у читателей и слушателей уже иссяк прекрасный дар терпения и те подробные жизнеописания, что были столь любимы в старину, ныне вызывают одно неудовольствие. Поэтому, пожертвовав обстоятельностью рассказа, я только бегло коснусь нескольких эпизодов, имеющих ближайшее отношение к моему пребыванию у вас.

Одно уже то обстоятельство, что я действительно являюсь мастером-блохой, дорогой господин Перегринус, должно заставить вас признать во мне человека всеобъемлющей эрудиции, обладающего глубоким опытом во всех отраслях знания. Но! – вам не определить степень моей учености никаким вашим мерилom, ибо вам неизвестен дивный мир, в котором живу я с моим народом. Как изумились бы вы, когда бы этот мир открылся вашему разумению! Он показался бы вам самым странным, самым непостижимым волшебным-царством! И потому вы не должны недоумевать, если все проистекающее из этого мира вам будет представляться запутанной сказкой, порожденной праздной игрой ума. Но не поддавайтесь этому заблуждению и верьте моим словам.

Видите ли, мой народ во многих отношениях далеко опередил вас, людей, например в прозрении тайн природы, в силе и ловкости, как духовной, так и телесной. Впрочем, и мы подвержены страстям, и, как у вас, они – источник слишком частых бед и даже полной гибели. Так и меня, любимого, даже боготворимого моим народом, звание мастера могло бы вознести на высшие ступени счастья, не ослепи меня несчастнейшая страсть к одной особе, которая овладела мной совершенно, но никогда бы не могла стать моей женой. Вообще, наш род упрекают в совершенно исключительном, пресупающем все границы приличия, пристрастии к прекрасному полу. Будь этот упрек и обоснован, однако ж, с другой стороны, всем и каждому известно... Но! – не буду тратить слов! Я увидел дочь короля Секакиса, прекрасную Гамахею, и в тот же миг с такой ужасающей силой влюбился в нее, что забыл и свой народ, и самого себя и жил только одним блаженством – прыгать по прекраснейшей шее, по прекраснейшей ее груди, щекоча мою милую сладкими поцелуями. Часто ловила она меня своими розовыми пальчиками, но никогда не могла поймать. И это принимал я за милые, игривые ласки счастливой любви! Как глуп, как глуп бывает влюбленный, будь он сам мастер-блоха!

Достаточно сказать, что на бедную Гамахею напал гадкий принц пиявок и зацеловал ее до смерти; но мне удалось бы ее спасти, не вмешайся тут в дело один глупый хвостун да еще какой-то неуклюжий болван; их никто не звал, и они-то все и погубили. Хвостун был чертополох Цехерит, а болван – гений Тетель. Когда гений Тетель поднялся с заснувшей принцессой в воздух, я крепко уцепился за брюссельские кружева, которые она носила вокруг шеи, и стал, таким образом, верным спутником Гамахеи в ее путешествии незаметно для гения Тетеля. Нам случилось пролетать мимо двух магов, наблюдавших с высокой башни движение светил. И тут один из магов так метко направил на меня свою зрительную трубу, что я положительно был ослеплен лучом магического инструмента. Голова моя страшно закружилась; как ни старался я удержаться – все напрасно: я полетел вниз с ужасающей высоты, упал прямехонько на нос магу-наблюдателю, и только мой малый вес и чрезвычайная ловкость спасли мне жизнь.

Я был слишком оглушен падением, чтобы сразу соскочить с носа мага и спрятаться куда-нибудь в безопасное место, и тут это чудовище, коварный Левенгук (он-то и был этот маг), проворно схватил меня пальцами и посадил под Рус-вурмовский универсальный микроскоп, так что я и оглянуться не успел. Несмотря на то что была ночь и он должен был засветить лампу, Левенгук был все же настолько опытным и сведущим естествоиспытателем, что тотчас же признал во мне мастера-блоху. В восторге, что счастливый случай дал ему в руки столь знатного пленника, он решил извлечь все выгоды из этого обстоятельства и наложил на меня, несчастного, оковы. Так началось мое страдальческое заточение, из коего лишь вчера утром был я наконец освобожден благодаря вам, господин Перегринус Тис.

Обладание мною дало ужасному Левенгуку полную власть над моими вассалами, которых вскоре он собрал вокруг себя целыми толпами и которым с варварской жестокостью

принялся прививать так называемые культурные начала, лишившие нас вскоре всякой свободы, всяких радостей жизни. Что касается до учения и вообще до наук и искусства, то Левенгуку, к его величайшей досаде и изумлению, пришлось очень скоро убедиться, что мы были, пожалуй, ученее его самого; высшая же культура, которую он принудительно нам навязывал, состояла преимущественно в том, что мы должны были чем-то сделаться или по крайней мере что-то собой представлять. И вот это «чем-то сделаться» и «что-то собой представлять» повлекло за собой множество потребностей, которых никогда раньше мы не знали, а теперь должны были в поте лица их удовлетворять. Жестокий Левенгук вознамерился сделать из нас государственных людей, военных, профессоров и уж не знаю кого еще. Мы должны были облекаться в одежду соответственно своему званию, носить оружие и т. д. Так появились среди нас портные, сапожники, цирюльники, швеи, пуговичники, оружейники, портупейщики, шпажники, каретники и множество других ремесленников, работавших только для распространения ненужной, пагубной роскоши. Хуже всего было то, что Левенгук имел в виду одну только собственную выгоду: он показывал нас как обученный им народ публике и взимал за то плату. Кроме того, заслуга нашего образования приписывалась всецело ему, и он получал хвалы, которые нам одним должны были принадлежать по праву. Левенгук отлично знал, что, потеряв меня, утратит он власть и над моим народом, и потому все крепче и крепче опутывал меня своими чарами, и все мучительнее становилось для меня мое пленение. С пламенной тоской мечтал я о прекрасной Гамахее и обдумывал средства, как бы раздобыть мне сведения о ее судьбе.

Но до чего не мог додуматься самый острый ум, то вдруг само собой открылось благодаря счастливому случаю. Друг и товарищ моего мага, старый Сваммердам, обнаружил принцессу Гамахею в цветочной пыльце тюльпана и сообщил об этом открытии своему приятелю. При помощи средств, от описания которых я избавлю вас, добрейший мой господин Перегринус Тис, так как вы мало что тут поймете, этим господам удалось восстановить естественный вид принцессы и возвратить ее к жизни. Однако под конец оба почтенных мудреца оказались столь же неуклюжими болванами, как и гений Тетель и чертополох Цехерит. Они в своем усердии забыли главное, и потому принцесса в то самое мгновение, как пробудилась к жизни, чуть было снова не упала мертвой. Я один знал, в чем тут дело; любовь к прекрасной Гамахее, вспыхнувшая в моей груди сильнее, чем когда-либо, придала мне исполинскую силу; я разорвал мои цепи, могучим прыжком скакнул красавице на плечо – и одного маленького укуса было достаточно, чтобы привести в движение останавливавшуюся кровь. Она была жива!

Должен, однако, вам сказать, господин Перегринус Тис, что для поддержания красоты и юности принцессы этот укус необходимо повторять; в противном случае в какие-нибудь два-три месяца она обратится в дряхлую, сморщенную старушонку. Вот почему я ей, как видите, совершенно необходим, и только боязнь меня потерять может объяснить ту черную неблагодарность, которой Гамахея заплатила мне за всю мою любовь. Она немедленно же выдала меня этому отвратительному мучителю, Левенгуку, который заковал меня в еще крепчайшие цепи, чем раньше, но на свою же погибель.

Невзирая на все предосторожности старого Левенгука и красавицы Гамахеи, мне удалось в конце концов обмануть их бдительность и выскочить из моей темницы. Мне очень мешали в моем бегстве тяжелые ботфорты, которые я не имел времени стащить с ног, но все-таки я благополучно добрался до той игрушечной лавки, где делали вы свои покупки. Не прошло и нескольких минут, как, к моему великому ужасу, вошла в лавку и принцесса Гамахея. Я считал себя погибшим, один вы могли спасти меня, благородный господин Перегринус; я тихо стал жаловаться вам на грозившую мне беду, и вы были столь добры, что открыли мне коробку, в которую я быстро впрыгнул, а вы столь же быстро унесли ее с собой; тщетно искала меня Гамахея и лишь гораздо позже узнала, как и куда я бежал. Как только очутился я на свободе, Левенгук потерял всю власть над моим народцем. Все мои подданные мигом освободились и скрылись из виду, вырядив, на посмеяние тирану, разные перечные и фруктовые семечки в свои платья.

Примите же еще раз мою сердечную благодарность, добрейший, благороднейший господин Перегринус, за великое благодеяние, которое вы мне оказали и которое я умею ценить, как никто. Позвольте мне, в качестве свободного человека, побыть несколько времени у вас; во многих важных обстоятельствах вашей жизни я могу быть вам более полезным, чем вы это подозреваете. Правда, и здесь для меня есть некоторая опасность, ввиду того, что вы воспылали горячей любовью к прелестному существу...

– Что вы говорите, – перебил Перегринус маленького невидимку, – что вы говорите, мастер, я-я воспылал любовью?

– Но ведь так оно и есть, – продолжал мастер-блоха, – подумайте только о моем ужасе, о моей тоске, когда вы вчера вошли сюда с принцессой на руках, совершенно распаленный дикой страстью; когда она стала применять все свое искусство обольщения, которым, к сожалению, владеет с таким совершенством, чтобы склонить вас выдать ей меня! Но только тут впервые познал я вполне все величие вашей души, когда вы остались непреклонны и так ловко обернули дело, будто вы ничего и не знаете о моем пребывании у вас и ни слова не понимаете из того, что требует от вас принцесса.

– Но ведь, – перебил снова Перегринус мастера-блоху, – но ведь так оно и было. Вы приписываете мне, дорогой мастер, заслуги, о которых я и не подозревал. Ни вас, ни хорошенькой женщины, которая разыскала меня у переплетчика Лэммерхирта и которую вы изволите почему-то называть странным именем принцессы Гамахеи, я вовсе не заметил в лавке, где покупал игрушки. Мне было совершенно неизвестно, что одна из коробок, в которых должны были находиться оловянные солдаты и охотники, была пуста и в ней сидели вы, да и как мог я отгадать, что вы-то и были тот пленник, которого так бурно требовала от меня прелестная малютка. Оставьте же ваши причуды, мастер, и не приписывайте мне того, что мне и не грезилось.

– Вы очень ловко стараетесь отклонить мою благодарность, добрейший господин Перегринус! – возразил мастер-блоха. – И это, к великому моему утешению, дает мне новое вашим врагам, а коварную обольстительницу эту я не хочу и видеть. Даю вам в том торжественное обещание и скрепил бы свое слово, подав вам руку, будь у вас такая же, чтобы взять мою и ответить пожатием на пожатие. – И господин Перегринус далеко протянул свою руку над одеялом.

– Ну, теперь, – проговорил маленький невидимка, – теперь я вполне утешен и успокоен. Если у меня и нет руки, которую я мог бы протянуть вам, то позвольте мне хотя бы укунить вас в большой палец, отчасти в изъявление моей искренней радости – отчасти в закрепление нашего дружеского союза.

В то же мгновение господин Перегринус почувствовал такой болезненный укол в большой палец правой руки, какой мог исходить только от первого мастера из всех блох.

– Однако вы кусаетесь, – вскричал Перегринус, – кусаетесь, как маленький чертенок!

– Примите это за живой знак моего искреннего к вам расположения, – возразил мастер-блоха. – Но справедливость требует, чтобы я в залог моей благодарности дал вам в подарок одно из самых удивительных произведений искусства, какие только существуют. Это не что иное, как микроскоп, который изготовил один из очень ловких и искусных оптиков моего народа еще в бытность свою на службе у Ле-венгука. Вам этот инструмент покажется немного субтильным, и в самом деле он в сто двадцать раз меньше песчинки, но применение его не допускает большей величины. Я вложу это стеклышко в зрачок вашего левого глаза, и глаз этот тотчас же приобретет свойства микроскопа. Вы будете поражены его действием, но на сей раз я умолчу о нем и только попрошу вас позволить мне заняться этой операцией тогда, когда я буду уверен, что микроскопический глаз окажет вам большие услуги. Ну а теперь покойной ночи, господин Перегринус, вам нужен некоторый отдых.

Пегрринус действительно заснул и пробудился только поздно утром.

Он услышал знакомое шуршание половой щетки старой Алины, подметавшей соседнюю комнату. Маленькое дитя, провинившееся в какой-нибудь шалости, не боится так розог матери, как господин Перегринус боялся попреков старухи. Наконец она тихо вошла,

неся кофе. Господин Перегринус выглянул на нее украдкой из-за полога, который он задернул, и был немало удивлен ясной солнечной улыбке, озарявшей лицо старухи.

– Вы все еще спите, милый господин Тис? – спросила старуха самым сладким голосом, какой только мог исходить из ее глотки.

Ободренный Перегринус ответил столь же ласково:

– Нет, милая Алина, поставьте завтрак на стол, я сейчас встану.

Когда же Перегринус встал в самом деле, ему почудилось, как будто в комнате веет сладостное дыхание прелестного создания, покоившегося в его объятиях; на душе его стало как-то уютно и жутко; во что бы то ни стало он стремился узнать, что сделалось с тайной его любви; ибо прелестнейшее создание явилось и исчезло, словно тайна.

Покуда господин Перегринус тщетно пытался глотать кофе и белый хлеб, каждый кусок которого застревал у него в горле, вошла старая Алина и стала возиться в комнате, бормоча себе под нос: «Удивительно! Невероятно! Чего только не приключается на свете! Нет, кто бы мог подумать!»

Сердце забило у Перегринуса. Не в силах сдерживаться долее, он спросил:

– Что же приключилось удивительного, милая Алина?

– Мало ли что, мало ли что! – отвечала старуха с лукавой усмешкой, продолжая по-прежнему убирать комнату.

Грудь готова была разорваться у бедного Перегринуса, и он невольно воскликнул в сердечной тоске:

– Ах, Алина!

– Да, господин Тис, я здесь, что прикажете? – и с этими словами старуха остановилась прямо перед Перегринусом, как бы в ожидании приказаний.

Пегринус вытаращил глаза на медно-красное, отвратительно искривленное лицо старухи и в порыве внезапного негодования забыл всю свою робость.

– Что случилось, – спросил он довольно-таки сердито, – что случилось с незнакомой дамой, которая была здесь вчера вечером? Отперла ли ты ей наружную дверь, наняла ли ей карету, как я приказал? Доставила ли ее домой?

– Отперла ли дверь? – заговорила старуха, ослабившись ужасной гримасой, что должно было изображать хитрую улыбку. – Привела ли карету? Доставила ли домой? Это было не нужно. Красоточка осталась в нашем доме, она все еще здесь и пока вовсе не собирается уезжать.

Пегринус даже вскочил от радостного испуга, а старуха стала ему рассказывать, что в то самое время, как дама запрыгала по лестнице с такой стремительностью, что она чуть не лишилась чувств от страха, старый господин Сваммер стоял внизу в дверях своей комнаты, держа в руке огромный канделябр. Старый господин пригласил даму к себе в комнату, причем много раз перед ней расшаркивался и склонялся, что вообще вовсе не было в его обычаях, а она безо всяких церемоний проскользнула к нему, вслед за чем господин Сваммер крепко-накрепко запер дверь и задвинул засов.

Уж очень странным показался ей поступок господина Сваммера, и она не могла удержаться, чтобы не приложить уха к двери и не поглядеть в замочную скважину. Господин Сваммер стоял посреди комнаты и так трогательно, так жалостно выговаривал незнакомке, что даже она, старуха, прослезилась, несмотря на то что она ни слова не могла понять, так как господин Сваммер говорил на иностранном языке. Она убеждена только, что господин Сваммер старался обратить даму на путь добродетели и благочестия, так как он горячился все более и более, пока наконец незнакомка не упала перед ним на колени и, проливая слезы, с величайшим смирением поцеловала ему руку. Тогда господин Сваммер очень ласково помог ей встать, поцеловал ее в лоб, причем он должен был сильно нагнуться, и затем подвел ее к креслу. После этого господин Сваммер с большой заботливостью развел огонь в камине, принес разных пряностей и, сколько она могла рассмотреть, начал варить глинтвейн. К несчастью, в это время старуха взяла понюшку табаку и вслед за тем громко чихнула. Тут вся она задрожала и чуть не умерла от страха, когда господин Сваммер протянул руку к

двери и закричал громовым голосом: «Убирайся вон, подслушивающий сатана!» Она и сама не помнит, как только она поднялась по лестнице и добралась до своей постели. Поутру, чуть только открыла она глаза, она подумала, что видит привидение. У ее постели стоял господин Сваммер в прекрасном собольем кафтане с золотыми шнурами и кистями, с шляпой на голове и тростью в руке.

– Любезнейшая госпожа Алина, – обратился к ней господин Сваммер, – я должен уйти по важному делу и возвращусь, пожалуй, только через несколько часов. Позаботьтесь, чтобы в сенях подле моей комнаты не было никакого шума и чтобы никто не смел входить ко мне. Дело в том, что у меня укрылась одна знатная дама, даже скажу вам прямо, не просто дама, а иноземная принцесса, богатая и дивной красоты. В прежнее время, при дворе ее царственного родителя, я состоял у нее в наставниках, поэтому и пользуюсь ее доверием и должен защищать ее от всех ее врагов. Я говорю это вам, госпожа Алина, дабы вы оказывали моей гостье уважение, подобающее ее сану. Она потребует ваших услуг с разрешения господина Тиса, и вы будете награждены по-царски, добрейшая госпожа Алина, если только вы будете молчаливы и никому не выдадите местопребывания принцессы. – Сказав это, господин Сваммер быстро ушел.

Господин Перегрину с Тис спросил старуху, не кажется ли ей странным, что дама, которую он встретил, как опять-таки утверждает, у переплетчика Лэммерхирта на Кальбахской улице, оказалась принцессой и укрылась у старого господина Сваммера. Старуха отвечала на это, что словам господина Сваммера верит она еще более, чем своим глазам, и потому думает, что все случившееся у переплетчика Лэммерхирта и здесь, в этой комнате, либо просто какое-то колдовское наваждение, либо принцесса во время своего бегства бросилась в такие приключения со страха и из-за смятения. А впрочем, она скоро узнает это все от самой принцессы.

– Однако, – говорил опять господин Перегринус, собственно только для того, чтобы поддержать беседу о даме, – однако куда же девались ваши подозрения, ваше худое мнение, которое вы имели вчера о незнакомке?

– Ах, – возразила старуха, ухмыляясь, – ах, все это прошло. Стоит только получше поглядеть на нее, голубушку, чтобы догадаться, что это знатная принцесса, да еще такой ангельской красоты, какая встречается только у принцесс. Когда господин Сваммер ушел, мне надобно же было посмотреть, что поделявает добрая наша госпожа, и я взглянула в замочную скважину. Принцесса лежала на софе, облокотившись на руку своей ангельской головкой, а ее черные локоны вились сквозь белоснежные пальчики. Что это была за красота! А платье на ней было из тончайшей серебряной тафты, сквозь которую просвечивали и чудная грудь ее, и полные ручки. На ножках ее были золотые туфельки. Одна из них, впрочем, свалилась, и видно было, что она не надела чулок: босая ножка выглядывала из-под платья, и она играла ее пальчиками – ну просто загляденье! Да она и теперь, верно, все еще лежит на софе, и если вам угодно, милый господин Тис, подойти к замочной скважине, то...

– Что ты говоришь, – с жаром перебил старуху Перегринус, – что ты говоришь! Как, мне идти смотреть на соблазнительницу, чтобы она заставила меня надеть еще разных глупостей?

– Мужайся, Перегринус, противься искушению! – зашептало что-то совсем рядом с Перегринусом, и он узнал голос мастера-блохи.

Старуха таинственно усмехнулась и, помолчав с минуту, произнесла:

– Ну, так я изложу вам все дело, как оно мне представляется, дорогой мой господин Тис. Будь незнакомка принцесса или нет, одно несомненно, что она дама очень знатная и богатая, и господин Сваммер горячо за нее заступает и давно с ней знаком. И зачем бы побежала она за вами, милый господин Тис? Говорю вам, затем, что она до смерти влюблена в вас, а любовь делает человека слепым и безрассудным и заставляет даже принцесс совершать самые странные, безумные поступки. Одна цыганка напроорочила вашей покойной матушке, что вы тогда найдете счастье в женитьбе, когда вы менее всего о том будете

думать. Теперь, верно, это и сбудется!

И старуха принялась снова расписывать всю красоту незнакомки.

Можно себе представить, какие чувства обуревали Пере-гринуса.

– Молчи, – вырвалось у него наконец, – молчи об этом, Алина. Она в меня влюблена! – какие глупости, какой вздор!

– Гм, – произнесла старуха, – будь это не так, она не стала бы так жалостно вздыхать, не стала бы так плакаться:

«Нет, милый мой Перегринус, нежный мой друг, ты не будешь, ты не можешь быть так жесток ко мне! Я увижу тебя опять, я буду вновь наслаждаться райским блаженством!» А нашего старого господина Сваммера, да ведь она его совсем переделала. Когда я получала от него хоть крейцер, кроме кронталера на Рождество? А ведь сегодня утром дал же он мне на чай вперед за мое прислуживание его гостье вот этот чудный, светлый червонец,» да еще с такой ласковой улыбкой, какой я никогда еще не видывала у него на лице. Тут что-то кроется. Что, если господин Сваммер хочет быть сватом у вас, господин Тис?

– И старуха опять заговорила о прелестях незнакомки в таких восторженных выражениях, что странно было их слышать из уст отжившей свой век женщины. Перегринус не выдержал. Как в жару вскочил он и вне себя закричал:

– Будь что будет – вниз, вниз, к замочной скважине. Напрасно предостерегал его мастер-блоха, вспрыгнувший тем временем в галстук влюбленного Перегринуса и притаившийся в одной из его складок. Перегринус не слышал его голоса, и мастер-блоха узнал то, что должен был бы знать давно, а именно что с самым упрямым человеком легче иметь дело, чем с влюбленным.

Дама действительно все еще лежала на софе в той самой позе, как описала старуха, и Перегринус нашел, что никакой язык человеческий не в силах был выразить словами небесное очарование, разлитое во всем ее прелестном существе. Одевание ее, из серебряной тафты с причудливым пестрым шитьем, было совершенно фантастично и очень легко могло сойти за неглиже принцессы Гамахеи, в котором она была, быть может, в то самое мгновение, как ее до смерти зацеловал злой принц пиявок. По крайней мере одевание ее было столь пленительно и притом столь необычайно, что идея его не могла родиться ни в голове самого гениального театрального портного, ни в воображении самой тонкой модистки. «Да, это она, это принцесса Гамахея!» – бормотал Перегринус, весь трепеща от сладостной неги и страстного желания. Но когда красавица, вздохнув, произнесла: «Пегрринус, мой Пегрринус!» – безумие страсти всецело овладело господином Пегрринусом Тисом, и только какой-то невыразимый страх, подорвав всю его решимость, помешал ему выломать дверь и кинуться к ногам ангельского существа.

Благосклонный читатель уже знает, каково было волшебное очарование, какова была неземная красота маленькой Дертье Эльвердинк. Издатель может засвидетельствовать, что, когда и он также посмотрел в замочную скважину и увидел малютку в ее фантастическом платье из серебряной тафты, он ничего не мог сказать, кроме того, что Дертье Эльвердинк прелестнейшая, хорошенькая куколка.

Но так как ни один молодой человек не влюбляется впервые иначе как в существо неземное, в ангела, которому нет равного на земле, то да будет позволено и господину Перегринусу считать Дертье Эльвердинк за подобное же волшебное неземное существо.

«Возьмите себя в руки, вспомните ваше обещание, достойнейший господин Перегринус Тис. Вы дали зарок никогда больше не видеть оболстительной Гамахеи, и что же! Я мог бы вставить в глаз вам микроскоп, но вы и без него должны сами видеть, что маленькая злодейка давно вас заметила и все, что она ни делает, только обман и хитрость, чтобы завлечь вас. Поверьте мне, ведь я желаю вам добра!» – так шептал мастер-блоха, сидя в складке галстука; но если в душе Перегринуса и возникали подобные боязливые сомнения, он все-таки не мог оторвать своих зачарованных глаз от малютки, которая ловко использовала преимущество своего положения и под предлогом, будто никто ее не видит, принимала все новые и новые соблазнительные позы, доводя бедного Перегринуса до потери

всякого самообладания.

Еще долго простоял бы господин Перегринус Тис перед дверью роковой комнаты, если бы не раздался тут громкий звонок и старуха не крикнула, что старый господин Сваммер возвратился. Перегринус стремглав бросился вверх по лестнице в свою комнату. Здесь предался он всецело своим любовным помыслам, а с ними вернулись и те сомнения, что возбудили в нем увещевания мастера-блохи. И в самом деле – точно блоха какая-то зудела у него в ухе и не давала ему покоя.

«Как же мне не верить, – рассуждал он, – как же мне не верить, что это чудесное существо действительно принцесса Гамахея, дочь могущественного короля? Но если это так, то с моей стороны глупость, безумие – стремиться к обладанию столь высокой особой. С другой же стороны, она потребовала выдачи ей пленника, от которого зависит ее жизнь, и это в точности согласуется с рассказом мастера-блохи, а если так, то почти не остается сомнений – все то, что я принимал за любовь, могло быть только хитрым приемом, чтобы подчинить меня своей воле. И все же! – покинуть, потерять ее – о, это ад! о, это смерть!»

Легкий, робкий стук в дверь прервал тоскливые думы господина Перегринуса Тиса.

Вошедший был не кто иной, как жилец господина Перегринуса. Господин Сваммер, этот сморщенный, ворчливый и нелюдимый старик, вдруг показался ему на двадцать лет моложе. Лоб разгладился, глаза оживились, рот улыбался; не было противного черного парика на его седых волосах, а вместо темно-серого сюртука на нем был надет прекрасный соболий кафтан, как и описывала госпожа Алина.

Сосветлой, даже радушной улыбкой, вообще ему вовсе не свойственной, подошел господин Сваммер к Перегрину-су. Он не желал бы ни в чем помешать своему любезному хозяину, заговорил господин Сваммер; но как жилец он обязан уведомить его уже с утра, что был принужден прошедшей ночью приютить у себя беззащитную женщину, которая хочет избавиться от тирании своего дяди и потому должна будет остаться здесь в доме еще несколько времени, на что, конечно, требуется разрешение добрейшего хозяина, о чем он и просит его.

Пегрегринус совершенно невольно спросил, кто же эта беззащитная женщина, совсем не думая, что то был самый целесообразный вопрос, какой только он мог предложить для отыскания нити к разъяснению всей этой странной тайны.

– Это право домохозяина, – отвечал господин Сваммер, – знать, кто останавливается в его доме. Итак, имею вам сообщить, почтеннейший господин Тис, что девушка, приютившаяся у меня, не кто иная, как красавица голландка Дертье Эльвердинк, племянница знаменитого Левенгука, который, как вы знаете, показывает здесь во Франкфурте удивительные фокусы при помощи микроскопов. Левенгук, правда, мой приятель, однако не могу не признать, что человек он жестокий и обращается с бедняжкой Дертье, которая вдобавок моя крестница, весьма сурово. Бурное столкновение, происшедшее между ними вчера вечером, заставило девушку бежать от него, и вполне естественно, что она искала у меня утешения и помощи.

– Дертье Эльвердинк, – как бы сквозь сон проговорил Перегринус, – Левенгук! – быть может, потомок естествоиспытателя Антона ван Левенгука, изобретателя знаменитых микроскопов?

– Что наш Левенгук, – возразил с усмешкой господин Сваммер, – потомок того знаменитого мужа, собственно нельзя сказать, так как он сам и есть этот знаменитый муж, а будто он около ста лет тому назад похоронен в Дельфте, так это одни басни. Поверьте, дражайший господин Тис! А то вы, пожалуй, еще усомнитесь и в том, что я – знаменитый Сваммердам, хотя я и называюсь ныне Сваммер, отчасти ради краткости, отчасти для того, чтобы избавиться от разговоров с каждым любопытствующим глупцом о предметах моей науки. Все утверждают, будто я умер в тысяча шестьсот восьмидесятом году, но обратите внимание, достойнейший господин Тис, что я стою перед вами жив и здоров, а что я – действительно я, это я могу доказать каждому, даже последнему дураку, по моей *Biblia nature* (книга природы. Лат.) Вы верите мне, достойнейший господин Тис?

– Со мною, – отвечал Перегринус тоном, показывающим его внутреннее смятение, – со мною за самое последнее время произошло столько странных вещей, что, если бы я не видел всего этого воочию, я бы вечно в том сомневался. Теперь же я готов верить всему, как бы дико и нелепо оно ни было! Очень может быть, что вы – покойный Иоганн Сваммердам и как выходец с того света знаете больше, чем обыкновенные люди; но что касается бегства Дертье Эльвердинк, или принцессы Гамахеи, или как бы она там ни называлась, то вы в жестоком заблуждении. Благоволите выслушать, как все произошло. – И Перегринус преспокойно рассказал все свое приключение с дамой, от ее появления в комнате Лэммерхирта и до водворения ее у господина Сваммера.

– Мне кажется, – сказал господин Сваммер, когда Перегринус умолк, – мне кажется, будто все, что вам угодно было мне рассказать, какой-то удивительный, но и весьма приятный сон. Но я не стану с вами спорить и лишь прошу вас удостоить меня вашей дружбы, в которой я, быть может, буду очень нуждаться. Забудьте мою прежнюю неприветливость, и сойдемтесь поближе. Ваш батюшка был очень прозорливый человек и мой сердечный друг, но что касается учености, глубокомыслия, здравости суждений, жизненного опыта, то сын далеко ушел вперед. Вы не поверите, как высоко я ценю вас, мой достойнейший господин Тис.

«Теперь пора, – прошептал мастер-блоха, и в то же мгновение Перегринус почувствовал внезапную легкую боль в зрачке своего левого глаза. Он понял, что мастер-блоха вставил ему в глаз микроскопическое стекло, но поистине он не мог и предположить того действия, какое оно оказало. За роговой оболочкой глаз господина Сваммера увидел он странные разветвления нервов, причудливо перекрещивающихся в разных направлениях, и, следуя за ними в самую глубь мозга, он обнаружил, что это были Сваммеровы мысли. А смысл их был приблизительно таков: «Не думал я, что так дешево здесь отделаюсь и что меня так мало станут расспрашивать. Уж на что папенька был простак – ни в грош я его не ставил, – ну а сынок так совсем какой-то полупомешанный, да с большой долей детского слабоумия в придачу. Рассказывает мне, простофиля, все свое приключение с принцессой и не догадывается, что она все уже сама мне рассказала и что между нами и раньше существовали дружеские отношения. Но что делать, надо подладиться к нему, раз мне нужна его помощь. Он так прост, что всему поверит и даже, по своему глупому добродушию, будет готов на жертвы в моих интересах, а в благодарность за благополучный исход дела я посмеюсь у него за спиной, когда Гамахея опять станет моей».

– Мне показалось, – сказал господин Сваммер, вплотную подойдя к господину Перегринусу, – мне показалось, точно у вас на галстук сидит блоха, дражайший господин Тис! – А мысли гласили: «Черт возьми, а ведь это правда был мастер-блоха! – вот проклятая история, если только Гамахея не ошиблась».

Перегринус быстро отступил назад, уверяя, что совсем не питает отвращения к блохам.

– В таком случае, – произнес господин Сваммер, низко кланяясь, – в таком случае позвольте засвидетельствовать вам свое почтение, любезнейший господин Тис. – А мысли гласили: «Чтоб черт тебя побрал, проклятый дурень».

Мастер-блоха вынул микроскопическое стекло из зрачка изумленного Перегринуса и сказал:

– Вы знаете теперь, милый господин Перегринус, какое замечательное действие производит этот инструмент, подобного которому вы не найдете в целом мире, и вы увидите, какую власть он даст вам над людьми, когда самые их затаенные мысли будут лежать открыто перед вашими очами. Но если бы вы стали постоянно носить в глазу это стекло, то беспрестанное познание чужих мыслей подавило бы вас своей тяжестью, ибо слишком часто повторялось бы то горькое разочарование, которое вы только что испытали. Я буду неизменно сопровождать вас, когда вы будете отлучаться из дома; я буду сидеть либо в вашем галстук, либо в вашем жабо, либо еще в каком-нибудь укромном месте. Захочется вам узнать мысли вашего собеседника, щелкните только пальцами, и стекло тотчас очутится в вашем глазу.

Господин Перегринус Тис, понимая огромную пользу этого дара, хотел было уже рассыпаться в горячих выражениях благодарности, как вдруг вошли два депутата высшего совета и объявили ему, что он обвиняется в тяжком преступлении, вследствие чего должен быть помещен в дом предварительного заключения, а все его бумаги конфискованы.

Господин Перегринус клялся и божился, что он не знает за собой ни малейшей вины. Но один из депутатов с улыбкой заметил ему, что невиновность, возможно, обнаружится через несколько часов, а до тех пор он обязан подчиниться приказу властей.

Что оставалось господину Перегринусу Тису, как не сесть в карету и отправиться в тюрьму.

Можно себе представить, с какими чувствами проходил он мимо комнаты господина Сваммера.

Мастер-блоха сидел в галстук арестованного.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Неожиданная встреча двух друзей. – Советник Кнаррпанти и его юридические принципы. – Любовное отчаяние чертополоха Цехерита. – Оптический поединок двух магов. – Сомнамбулическое состояние принцессы Гамахеи. – Сонные мысли. – Как Дертье Эльвердинк сказала почти правду и как чертополох Цехерит бежал с принцессой Гамахеей.

Ошибка ночного сторожа, задержавшего господина Пепуша как ночного громилу, открылась очень быстро. Но в его паспорте были обнаружены кое-какие неправильности, вследствие чего ему было предложено посидеть в ратуше, пока он не представит за себя поручителем кого-нибудь из франкфуртских граждан.

И вот господин Георг Пепуш сидел в отведенной ему комнате и ломал себе голову, кого же во Франкфурте ему представить за себя поручителем. Он так долго был в отсутствии, что его могли забыть даже и те, кого он хорошо знал раньше, да он теперь и адреса никого из них не помнил.

В сквернейшем расположении духа высунулся он в окно и принялся громко проклинать свою судьбу. Вдруг рядом с ним отворилось другое окно, и чей-то голос воскликнул:

– Как? что я вижу? Ты ли это, Георг? – Господин Пепуш немало был изумлен, увидав друга, с которым близко сошелся во время своего пребывания в Мадрасе.

– Черт возьми, – сказал господин Пепуш, ударив себя по лбу, – черт возьми, надо же быть таким забывчивым! Ведь я же знал, ведь я же знал, что ты благополучно приплыл в родную гавань. Чудеса слышал я в Гамбурге о твоём странном образе жизни, а прибывши сюда, и не подумал тебя разыскать. Впрочем, у кого, как у меня, голова набита такими мыслями – ну, да все равно, хорошо, что случай послал мне тебя. Ты видишь, я заключен, но ты в одно мгновение можешь вернуть мне свободу, если поручишься, что я действительно Георг Пепуш, которого ты знаешь уже много лет, а не какой-нибудь вор и разбойник!

Да, нечего сказать, – воскликнул господин Перегринус Тис, – не сыскать тебе лучшего, безупречного поручителя! Ведь я сам арестован за тяжкое преступление, какого не только не знаю за собой, но и предположить не могу, в чем оно заключается.

Однако будет излишне прервать здесь разговор обоих друзей, встретившихся столь неожиданным образом, и сообщить благосклонному читателю, что же в конце концов послужило поводом к заключению господина Перегринуса Тиса. Трудно, даже невозможно описать, как зарождаются разные слухи; они подобны ветру, который возникает неизвестно откуда и уносится неизвестно куда. Так вот, по городу распространился слух, будто в вечер рождественского сочельника из большого общества, собравшегося у одного богатого банкира, совершенно непостижимым образом была похищена некая весьма знатная дама. Об этом толковали все и каждый, называли имя банкира и громко жаловались на недостаточную бдительность полиции, допустившей совершиться такому наглому насилию. Совет вынужден был учинить следствие; были допрошены все гости, бывшие у банкира в вечер сочельника; каждый из них заявил, что действительно, как он слышал, из общества была

похищена какая-то знатная дама, а банкир выражал горькие сожаления, что в его доме случилась подобная история. Но в то же время никто не мог назвать имени похищенной дамы, когда же банкир представил список бывших у него гостей, оказалось, что в нем нет ни одной дамы, которой бы недосчитывались. И когда оказалось, что так же обстоит дело и со всеми жительницами города, постоянными и приезжими, из коих ни одна женщина, ниже девушка, не потерпела в рождественский сочельник никакого ущерба, то совет заключил, как и следовало, что распространившиеся слухи ни на чем не основаны и все дело должно почитаться исчерпанным.

Но тут предстал пред лицом совета некий человек, причудливый и по своей одежде и по всему своему обличью, который отрекомендовался тайным советником по имени Кнаррпанти. При сем вытащил он из кармана бумагу с большою печатью и представил ее на рассмотрение, сопровождая это вежливым поклоном и улыбкой, которая выражала полную уверенность в том, что совет будет совершенно потрясен высоким званием, коим облечен он, тайный советник Кнаррпанти, равно как важным поручением, на него возложенным, и окажет ему подобающий респект.

Кнаррпанти был очень важной персоной, так называемым фактотумом при дворе одного мелкого князя, имя которого издатель никак не может припомнить и о коем можно только сказать, что он постоянно нуждался в деньгах и что из всех государственных установлений, известных ему в истории, ни одно так ему не было по сердцу, как тайная государственная инквизиция, по образцу существовавшей некогда в Венеции. У этого князя действительно несколько времени тому назад пропала одна из его принцесс, точно неизвестно каким образом. Когда слух о похищении знатной дамы дошел до ушей Кнаррпанти, находившегося как раз в то время во Франкфурте с целью занять, где только возможно, денег для своего государя, он тотчас же написал князю, что его старания напасть на след пропавшей принцессы увенчались успехом. Незамедлительно получил он приказ, преследовать разбойника и принять все меры, чтобы найти и завладеть принцессой, чего бы это ни стоило. К приказу этому было приложено сопроводительное послание к совету с просьбой оказать всемерное содействие тайному советнику Кнаррпанти в его розысках, задержать по первому его требованию разбойника и предать его суду. Это послание было той бумагой, которую Кнаррпанти передал на аудиенции совету и от которой ждал он такого потрясающего действия.

Совет отвечал: слух о похищении знатной дамы, как совершенно необоснованный, опровергнут; напротив, точно установлено, что никто похищен не был, ввиду чего ни о каком нахождении похитителя не может быть речи, и господин тайный советник Кнаррпанти, свободный от всяких дальнейших розысков, не нуждается ни в каком содействии.

Кнаррпанти выслушал все это с самодовольной улыбкой и заявил, что ему благодаря его исключительной проницательности уже удалось выследить преступника. В ответ на указание, что преступник может быть установлен лишь в том случае, если установлен самый факт преступления, Кнаррпанти высказал мнение, что важно прежде всего найти злодея, а совершенное злодеяние уже само собой обнаружится. Только поверхностный, легкомысленный судья не в состоя-; нии так повести допрос обвиняемого, чтобы не найти на его совести хотя бы малейшего пятна как достаточного повода к его задержанию, в том случае, если главное обвинение вследствие заперательства обвиняемого даже не установлено. И он теперь же настоятельно ходатайствует о скорейшем! задержании похитителя его принцессы, похититель же этот не кто иной, как господин Перегринус Тис, известный ему; давно как лицо в высшей степени подозрительное и чьи бумаги он немедленно просит конфисковать.

Совет выразил удивление по поводу смелого обвинения тихого гражданина с незапятнанной репутацией и с бурным! негодованием отклонил ходатайство Кнаррпанти. Кнаррпанти ничуть не смутился, но заявил с присущей! ему наглой самоуверенностью, что, если требуется вперед! привести основания его обвинению, ему ничего не стоит это сделать.

Он может представить двух свидетелей того, что господин Перегринус Тис в рождественскую ночь насильно! затащил к себе в дом красивую нарядную девушку.

Более для того, чтобы обнаружить полную абсурдность такого утверждения, нежели для того, чтобы действительно расследовать это дело, совет постановил заслушать показания обоих указанных свидетелей. Один из них был соседом господина Перегринуса Тиса, который в роковую рождественскую ночь случайно в тот самый момент собирался войти в свой дом, а другой – ночной сторож, оба они издали наблюдали всю сцену, как Перегринус вносил к себе таинственную незнакомку, и теперь единогласно подтвердили, что господин Тис действительно принес к себе в дом какую-то разряженную даму. Оба также обратили внимание на то, что дама всячески отбивалась и жалобно стонала. На вопрос, почему же они не поспешили на помощь терпящей насилие женщине, они ответили, что это не пришло им в голову.

Показание свидетелей поставило совет в немалое затруднение, ибо господин Перегринус оказывался как будто действительно виновным в проступке, в котором его обвиняли. Кнаррпанти говорил, как Цицерон, и доказывал, что то обстоятельство, будто в настоящую минуту не обнаружено исчезновения ни одной дамы в городе, само по себе еще ничего не говорит, так как похищенная дама могла спастись из Перегринусова дома и умолчать о происшествии из чувства чистой стыдливости. Кто эта дама и сколь были опасны для общества другие любовные похождения господина Тиса, это, конечно, выяснится из бумаг преступника, со своей же стороны он взывает к правосудию совета, который, конечно, не оставит безнаказанным ни одного достойного кары деяния. Совет постановил на первое время удовлетворить прошение достойного тайного советника, ввиду чего и последовало распоряжение о немедленном задержании бедного Перегринуса Тиса и о конфискации его бумаг.

Возвратимся теперь к обоим друзьям, высунувшим свои головы, друг подле друга, из окон своих темниц.

Перегринус подробно рассказал приятелю, как по возвращении во Франкфурт узнал, что остался круглым сиротой и как с тех пор посреди шумного города стал вести самую уединенную, безрадостную жизнь отшельника, предаваясь воспоминаниям прежних дней.

– Да, да, – угрюмо отвечал ему Пепуш, – слышал я о том; мне рассказывали о всех твоих дурачествах, о том, как ты проводишь жизнь в детских мечтаниях. Ты вознамерился быть каким-то героем простодушия и ребячества и смеешься над справедливыми требованиями, которые предъявляют к тебе жизнь и общество. Ты задаешь воображаемые семейные пиры и потом раздаешь бедноте дорогие вина и яства, кото– рыми уставлял стол для твоих мертвецов. Ты устраиваешь сам для себя рождественскую елку и разыгрываешь из себя ребенка, а затем раздаешь бедным детям дорогие подарки, какие дарят только балованным детям в богатых домах родители. Но ты не соображаешь, что оказываешь беднякам плохую услугу, раздражив их вкус разными сластями, после чего они ведь вдвойне почувствуют свою несчастную судьбу, когда им с голоду опять придется жевать безвкусные куски, которых не станет есть ни одна разборчивая комнатная собачонка. О, до чего мне отвратительна эта кормежка бедняков, как я подумаю, что растроченного за один только день хватило бы для пропитания их умеренной пищей в течение нескольких месяцев! Ты задариваешь детей бедных родителей блестящими игрушками, а не подумаешь о том, что какая-нибудь деревянная раскрашенная сабля, тряпичная кукла, кукушка, жалкий пряник, подаренные им отцом и матерью, обрадуют их так же, если не больше. Твоими же проклятыми марципанами они объедаются до расстройства желудка, а Я твои блестящие подарки, которых они уже больше не получают, зарождают в их душе семя недовольства и ропота. Ты богат, ты полон жизненных сил и сторонись всякого общества, брезгаешь всяким дружеским сближением с людьми, искренне к тебе расположенными. Я верю, что смерть в родителей могла потрясти тебя, но если бы каждый, понеся] чувствительную потерю, уползал как улитка в свою раковину, то свет, черт возьми, уподобился бы какой-то покойницей, и я не стал бы в нем жить ни минуты. Нет, приятель, ты должен знать, что все

это лишь проявление самого упрямого себялюбия, которое только прикрывается глупой боязнью людей! Нет, нет, Перегринус, я не могу тебя больше уважать, не могу больше быть твоим другом, если ты не изменишь своего образа жизни и своего мрачного домашнего уклада.

Перегринус щелкнул пальцами, и мастер-блоха тотчас же вставил микроскопическое стекло в его глаз.

Мысли разгневанного Пепуша гласили: «Ну, не жалость ли, что этот чуткий, умный человек мог впасть в такое заблуждение, которое грозит свести на нет все лучшие его задатки и способности! Несомненно, однако, что его нежная, меланхолически настроенная душа не смогла перенести удара, нанесенного ему смертью родителей, и что он стал искать уте- Я шения в поступках, граничащих с сумасшествием. Он погиб, ежели я не спасу его. И я не отстану от него, я в самых резких красках распишу ему всю картину его глупостей, потому что ведь я ценю и люблю его, как настоящий, истинный его друг».

Прочитав эти мысли, Перегринус убедился, что в угрюмом Пепуше он вновь обрел своего старого, верного друга.

– Георг, – обратился к нему Перегринус, после того как мастер-блоха опять извлек микроскопическое стекло из его зрачка, – Георг, я не намерен препираться с тобой по поводу предосудительности моего образа жизни, ибо знаю, что ты желаешь мне добра. Должен, однако, тебе сказать, что я задыхаюсь от радости, если могу сделать для бедных хоть один день счастливым, и если это – проявление отвратительного себялюбия, хоть я тут вовсе не думаю о себе, – тоя, во всяком случае, грешу бессознательно. Это цветы в моей жизни, которая вообще мне представляется мрачным, запущенным полем, заросшим чертополохом.

– Что говоришь ты? – запальчиво воскликнул Георг Пепуш. – Что говоришь ты о чертополохе? Почему ты презираешь чертополох и противопоставляешь его цветам? Или ты так несведущ в естественной истории и не знаешь, что чудеснейший цветок, какой только может быть на свете, есть цветок одного из чертополохов? Я разумею *Cactus grandiflorus*. А чертополох Цехерит разве не прекраснейший кактус во всей вселенной? Перегринус, я так долго скрывал это от тебя, вернее должен был скрывать, потому что я сам это недостаточно ясно еще сознавал, но теперь я прямо заявляю тебе, что я сам и есть чертополох Цехерит и не отказывался и никогда не откажусь от моих прав на руку дочери достойного короля Секакиса, прелестной, небесной принцессы Гамахеи. Я нашел ее, но в то же мгновение меня схватили эти дьявольские ночные сторожа и потащили в тюрьму.

– Как, – вскричал Перегринус, остолбенев от изумления, – и ты, Георг, запутан в эту удивительнейшую историю?

– В какую историю? – спросил Пепуш.

Перегринус, не задумываясь, рассказал и своему другу, как раньше господину Сваммеру, все, что произошло сначала у переплетчика Лэммерхирта, а затем в его собственном доме. Не умолчал он и о появлении мастера-блохи, утаив, впрочем, как и следовало ожидать, о таинственном стеклышке.

Глаза Георга сверкали, он кусал губы, бил себя по лбу и, когда Перегринус кончил, воскликнул в полной ярости: «Злодейка! обманщица! изменница!» И, желая выпить до последней капли весь кубок яду, который Перегринус поднес ему без всякого злого умысла, в самоистязании любовного отчаяния Георг заставил повторить себе вновь весь рассказ о похождениях Дертье до малейших подробностей. Слушая, он только бормотал: «В объятиях – на груди – пламенные поцелуй!» Затем он отпрянул от окна и начал бегать и скакать по комнате как бешеный.

Напрасно взывал к нему Перегринус, умоляя выслушать! его, напрасно уверял, что имеет сообщить ему утешительную новость, – Пепуш был неукротим.

В это время дверь комнаты Перегринуса отворилась, и вошедший депутат совета объявил господину Тису, что не найдено никакой законной причины для дальнейшего его задержания, почему он может возвратиться домой.

Свою свободу Перегринус первым делом использовал для того, чтобы предложить себя

поручителем за заключенного Георга Пепуша, причем он засвидетельствовал, что это действительно Георг Пепуш, с которым он жил в тесной дружбе в Мадрасе и который известен ему как зажиточный чело-| век с незапятнанной репутацией. О чертополохе Цехерите, прекраснейшем из всех кактусов, Перегринус благоразумно! умолчал, понимая, что при настоящих обстоятельствах это5 могло бы скорее повредить, чем принести пользу его другу.

Мастер-блоха пустился в весьма поучительные философские рассуждения, доказывая, что чертополох Цехерит, пусть внешне и кажется грубым и неподатливым, в сущности очень добр и рассудителен, хотя нередко и держит себя довольно-таки заносчиво. В сущности, чертополох с полным основанием порицал образ жизни господина Перегринуса, пусть! даже в несколько резких выражениях. Со своей стороны, он также бы посоветовал господину Перегринусу приобщиться! к жизни.

– Поверьте мне, – говорил мастер-блоха, – поверьте мне, господин Перегринус, вам будет очень полезно оставить уединение. Прежде всего, вам нечего теперь робеть и смущаться, так как с таинственным стеклом в глазу вы можете следить за мыслями людей, и, раз так, вы никогда, конечно, не сделаете ложного шага. С какой уверенностью и спокойствием вы можете теперь предстать перед высокими особами, раз их сокровенные помыслы открыты вашим очам. Когда вы будете свободно вращаться среди людей и кровь ваша легче потечет по жилам, мрачная сосредоточенная за-' думчивость ваша пройдет и, что самое важное, – когда в вашем мозгу возникнут пестрым роем разные мысли и идеи, блестящий образ прекрасной Гамахеи поблекнет и тогда вам будет гораздо легче сдержать данное мне слово.

Господин Перегринус чувствовал, что оба они – Георг! Пепуш и мастер-блоха – желали ему только добра, и потому! решил последовать их мудрому совету. Но чуть только до него! доносился сладостный голос прекрасной его возлюбленной, которая часто играла и пела, он не находил в себе сил выйти из дома, обратившегося в рай для него.

Но наконец он преодолел себя и отправился на публичное гулянье. Мастер-блоха вставил ему стеклышко в глаз, сам же поместился в жабо, где ему можно было плавно покачиваться взад и вперед.

– Наконец-то я имею редкое удовольствие видеть опять моего милого, доброго господина Тиса! Вы никуда не показываетесь, дорогой друг, и все тоскуют по вас. Зайдемте куда-нибудь выпить бутылочку вина за ваше здоровье, сердечнейший друг! Нет, как я рад, что увидал вас! – Так восклицал, идя ему навстречу, молодой человек, которого он видел всего два или три раза. А мысли его гласили: «Вот показался наконец этот глупый мизантроп! Нужно, однако, подольститься к нему, потому что я имею в виду занять у него денег. Не станет же он, черт возьми, принимать мое приглашение! У меня ни гроша в кармане, и ни один трактирщик больше не верит мне в долг».

Две щегольски одетые девушки шли прямо навстречу Перегринусу. То были две сестры, дальние его родственницы.

– Ах, – воскликнула одна из них, смеясь, – ах, братец, вот и вы нам встретились наконец. О, как нехорошо с вашей стороны быть таким затворником и никому не показываться на глаза. Вы не поверите, как маменька хорошо к вам относится, потому что вы такой умный человек. Обещайте мне поскорее к нам прийти. Ну, поцелуйте же мне руку. – А мысли гласили: «Как, что это? Что приключилось с нашим кузеном? Я-то хотела хорошенько его напугать. Бывало, он бегал от меня, как и от каждой женщины, а теперь стоит и так чудно смотрит мне прямо в глаза, да целует мне руку без всякого смущения. Уж не влюблен ли он в меня? Этого еще не доставало! Мать говорит, он чуточку придурковат. Невелика беда, я все-таки пойду за него; глупый муж, если он только богат, как кузен, лучше всякого другого».

Другая сестра прошептала только, опустив глаза и покраснев как маков цвет:

– Да, да, посетите нас поскорее, милый братец! – Мысли же ее гласили: «Кузен красивый мужчина, не понимаю, почему мать называет его глупым и пошлым и не выносит

его. Когда он придет к нам, он непременно влюбится в меня, потому что я самая красивая девушка во всем Франкфурте. Я пойду за него, потому что хочу выйти замуж за богатого, чтобы спать до одиннадцати часов и носить такие же дорогие шали, как госпожа фон Лерснер».

Проезжавший мимо врач, заметив Перегринуса, остановил карету и крикнул, высунувшись из окна:

– Доброго утра, милейший Тис! У вас чудесный вид! Дай бог вам доброго здоровья. А если с вами что случится, вспомните обо мне, старом друге вашего покойного батюшки. Такого здоровяка я быстро поставлю на ноги! До свиданья!

– А мысли были таковы: «Я уверен, что господин этот постоянно здоров только от скупости. Но у него такой бледный, расстроенный вид, мне кажется, у него что-то неладное с горлом. Ну, попадись он только в мои руки, не скоро он подыметься опять с постели; поплатится он за свое упорное здоровье».

– Нижайшее вам почтение, господин Тис! – воскликнул вслед за тем шедший к нему навстречу старый купец. – А я все бегаю, прямо замучили дела! Как премудро вы поступаете, отказавшись от вашего дела, хотя с вашими способностями вы непременно бы удвоили богатство вашего достойного родителя.

– А мысли гласили: «Если бы только этот простофиля занялся делами, он мигом бы проспекули-ровал все свое богатство. То-то была бы радость! Старый папаша, для которого не было лучшего удовольствия, как без пощады разорять честных людей, желавших поправить свои дела маленьким банкротством, в гробу бы перевернулся».

Много еще не менее разительных противоречий между словами и мыслями привелось наблюдать Перегринусу. Свои ответы он всегда сообразовывал с тем, что его собеседники думали, а не с тем, что они говорили, так что те сами уже не знали, что и подумать о Перегринусе, раз он так проникает в их мысли. В конце концов у господина Перегринуса голова кругом пошла от утомления. Он щелкнул пальцами, и стекло исчезло из зрачка его левого глаза.

Дома Перегринуса поразило престранное зрелище. Какой-то человек стоял посреди сеней и не отводя глаз смотрел в стекло странной формы на дверь комнаты господина Сваммера. А на двери радужными кругами играли зайчики и, собираясь в одну огненную пылающую точку, казалось, пронизывали дверь насквозь. Как только это случалось, из комнаты слышались глухие вздохи, прерываемые болезненными стонами.

К ужасу Перегринуса, ему почудилось, что он узнает голос Гамахеи.

– Что вам угодно? Что вы тут делаете? – обратился Перегринус к человеку, занимавшемуся в самом деле какими-то дьявольскими операциями, потому что все быстрее играли радужные круги, все пламеннее сливались в одну точку, пронизавшую дверь, все болезненнее раздавались из комнаты стоны.

– Ах, – сказал человек, складывая и поспешно припрятывая свои стекла,

– ах, это вы, почтеннейший хозяин! Простите, дражайший господин Тис, что я произвожу здесь свои операции без вашего любезного разрешения. Я побывал у вас, чтобы его испросить. Однако добрейшая Алина сказала мне, что вы ушли, а дело мое здесь внизу не терпело ни малейшего отлагательства.

– Какое дело? – спросил Перегринус довольно грубо. – Какое дело здесь внизу не терпит ни малейшего отлагательства?

– Разве вы не знаете, – продолжал человек с отталкивающей усмешкой,

– разве вы не знаете, достойнейший господин Тис, что от меня сбежала моя негодная племянница, Дертье Эльвердинк? Вы даже были задержаны как ее похититель, хотя и совершенно несправедливо, почему, если понадобится, я с большим удовольствием засвидетельствую вашу полную невиновность. Не к вам, а к господину Сваммердаму, бывшему когда-то моим другом, а теперь обратившемуся в моего врага, бежала вероломная Дертье. Я знаю, она сидит здесь в комнате, и одна – господин Сваммердам вышел. Проникнуть внутрь я не могу, потому что дверь крепко-накрепко заперта, а я слишком

добродушный человек, чтобы прибегнуть к взлому. Вот я и позволил себе немножко помучить малютку моими оптическими пытками. Пусть она знает, что я ее господин и хозяин, какой бы там принцессой она себя ни воображала!

– Вы черт! – вскричал Перегринус в сильнейшей ярости. – Вы черт, милостивый государь, а не господин и хозяин прекрасной, небесной Гамахеи. Вон из моего дома! занимайтесь где вам угодно вашими сатанинскими операциями, а здесь вам не добиться удачи, об этом уж я позабочусь.

– Не горячитесь, – сказал Левенгук, – не горячитесь же, дражайший господин Тис, я человек совсем безобидный и никому не желаю зла. Вы и не подозреваете, за кого вы заступаетесь. Ведь это маленькое чудовище, маленький василиск – то существо, что сидит там в комнате в образе прелестнейшей женщины. Если ей уже решительно не нравилось житье у меня, скромного человека, пусть ее убежала бы даже, но зачем она, эта вероломная изменница, украла у меня драгоценнейшее мое сокровище, лучшего друга души моей, без которого я не могу жить, не могу существовать?

Зачем похитила она у меня мастера-блоху? Вы не поймете, почтеннейший, что я разумею, но...

Тут мастер-блоха, прыгнувший тем временем с жабо господина Перегринуса и занявший более надежное и удобное место в его галстук, не смог удержаться, чтобы не разразиться тонким, язвительным смехом.

– А, – воскликнул Левенгук, вздрогнув как от внезапного испуга, – а! что это было! – возможно ли? – да, здесь, на этом самом месте! – позвольте-ка, почтеннейший господин Перегринус! – И Левенгук протянул руку, подошел вплотную к Перегринусу и намеревался уже схватиться за его галстук.

Но Перегринус ловко от него увернулся, крепко схватил его и потащил к входной двери, чтобы без дальнейших рассуждений вытолкать его вон. Как раз в тот момент, когда Перегринус и беспомощно барахтавшийся Левенгук находились у самой двери, она вдруг растворилась снаружи, и в сени ворвался Георг Пепуш, а за ним господин Сваммердам.

Чуть только Левенгук завидел своего врага Сваммердама, как, собрав последние силы, вырвался из рук Перегринуса, отскочил назад и загородил спиной дверь роковой комнаты, в которой сидела прекрасная пленница.

Увидев это, Сваммердам вытащил из кармана маленькую подзорную трубку, раздвинул ее во всю длину и стал наступать на врага, громко восклицая:

– Ну, потягаемся, проклятый, если у тебя хватит смелости!

Левенгук ловко выхватил такой же инструмент, так же его раздвинул и закричал:

– Что ж, выходи, я готов, сейчас почувствуешь мою силу! Тут оба они приставили подзорные трубки к глазам и яростно напали друг на друга, нанося убийственные удары, причем посредством сдвигания и раздвигания они то сокращали, то удлиняли свое оружие. Они делали финты, парады, вольты – короче говоря, применяли все приемы фехтовального искусства и приходили все в больший и больший азарт. Получивший удар пронзительно вскрикивал, подскакивал и делал самые удивительные прыжки, антраша, пируэты, точно лучший солист парижского балета, пока противник не приводил его в оцепенение, устремив на него укороченную трубку. Получал удар этот последний, и с ним повторялась та же история. Так обменивались они дикими прыжками, сумасшедшими ужимками, бешеными криками; пот катил градом с их лбов, налившиеся кровью глаза вылезли из орбит, и так как, кроме их обоюдного взглядывания друг на друга через подзорные трубки, нельзя было заметить никакой другой причины их виттовой пляски, то их можно было принять за бесноватых, выскочивших из дома умалишенных. Впрочем, вся эта сцена была презабавна.

Господину Сваммердаму наконец удалось-таки оттеснить злого Левенгука с его позиции перед дверью, которую он отстаивал с необычным упорством, и перенести борьбу в глубину сеней. Тут Георг Пепуш улучил момент, толкнул освободившуюся дверь, которая вовсе даже не была заперта ни на замок, ни на задвижку, и проскользнул в комнату. Но он сейчас же выскочил оттуда назад с криком: «Она бежала – она бежала!» – и с быстротой

молнии бросился вон из дома. Тем временем оба противника, Левенгук и Сваммердам, тяжело поразили друг друга, ибо оба они прыгали и танцевали самым бешеным образом, сопровождая все это воем и криками, какие вряд ли уступали воплям грешников в аду.

Перегринус положительно не знал, что предпринять, чтобы разнять разъяренных врагов и тем положить конец всему зрелищу, столь же смешному, сколь и ужасному. Наконец оба они, заметив, что дверь в комнату растворена настежь, забыли и битву и боль свою, спрятали гибельное оружие и устремились в комнату.

Сердце так и упало у господина Перегринуса Тиса, когда он сообразил, что красавица ускользнула из дома, и он стал проклинать отвратительного Левенгука. Тут послышался вдруг на лестнице голос Алины. Она громко смеялась и приговаривала: «Чего только не случается! Ну и чудеса! – да кто ж бы это мог и подумать!»

– Что такое, – спросил Перегринус растерянно, – что такое опять за чудеса?

– О милый мой господин Тис, – закричала ему старуха, – идите же скорее наверх, скорее в вашу комнату!

Когда же старуха, лукаво хихикая, отворила ему дверь его комнаты и он вошел в нее, о чудо из чудес! – ему навстречу порхнула прелестная Дертье Эльвердинк, одетая в то самое обольстительное платье из серебряной тафты, в каком он видел ее в тот раз у господина Сваммера.

– Наконец-то, наконец-то я снова вижу тебя, мой сладостный друг, – прошептала малютка и прижалась к Перегринусу так близко, что, несмотря на свои добрые намерения, он не мог не обнять ее с величайшей нежностью. В глазах у него помутилось от любовного восторга и счастья.

Нередко, однако, случается, что человек в высшем упоении несказанного блаженства наткнется носом на что-нибудь твердое и, пробужденный земною болью, низвергнет из области потусторонних грез сразу в посюстороннюю обыденность. Так было и с господином Перегринусом. А именно, склонившись к Дертье, чтобы поцеловать ее сахарны уста, он ужасно ушиб свой, весьма почтенных размеров, не о блестящую бриллиантовую диадему, которую малютка не сила в своих черных кудрях. Боль от удара об острые граненые камни настолько отрезвила его, что он смог обратить внимание на диадему. Диадема же напомнила ему о принцессе Гамахее и обо всем, что рассказал ему мастер-блоха о этом обольстительном существе. Он рассудил, что принцесса, дочь могущественного короля, никоим образом не может придавать ценность его любви и что все ее любовное к не» отношение самый лицемерный обман, рассчитанный на то, чтобы предательски вновь завладеть волшебной блохой. С этого рассуждения кровь заледенела у него в жилах, и если его любовный пламень не совсем потух, то все-таки значительно поостыл.

Перегринус легонько высвободился из любовных объятий малютки и тихо заговорил, потупив глаза:

– Ах, боже мой! Да ведь вы дочь могущественного короля Секакиса, прекрасная, великолепная, дивная принцесс Гамахей! Простите, принцесса, что, будучи не в силах побороть охватившее меня чувство, я поступил так глупо, так безумно. Но вы сами, ваша светлость...

– Что, – перебила Перегринуса Дертье Эльвердинк, что говоришь ты, мой милый друг? Я – дочь могущественного короля? Я – принцесса? Но я ведь твоя Алина, которая будет любить тебя до безумия, если ты – но что же это с» мной? Алина, королева Голконды? она ведь давно уже | тебя; я говорила с ней. Такая добрая, милая женщина, только вот состарилась и уж далеко не так хороша, как во врем своей свадьбы с французским генералом! Увы! верно, я н настоящая, верно, я никогда не царствовала в Голконде Увы мне!

И малютка закрыла глаза и зашаталась. Перегрину перенес ее на софу.

– Гамахей, – продолжала она говорить, точно сомнам була, – Гамахей, сказал ты? Гамахей, дочь короля Секакиса Да, я вспоминаю себя в Фамагусте!

– я была, собственно чудным тюльпаном – но нет, уже тогда я чувствовала в груди моей и страстное томление и любовь – довольно, довода но об этом!

Малютка умолкла – казалось, она совсем засыпала.

Перегринус отважился на опасное дело – уложить ее поудобнее. Но, чуть только он бережно обнял красотку, как больно уколол палец о не замеченную им булавку.

По привычке прищелкнул он большим пальцем. А мастер-блоха принял это за условный знак и мигом вставил микроскопическое стекло ему в зрачок.

Как и всегда, Перегринус увидел за роговой оболочкой глаз странное сплетение нервов и жилок, уходивших в самую глубь мозга. Но в этом сплетении извивались еще блестящие серебряные нити, в добрую сотню раз более тонкие, чем нити самой тончайшей паутины. Они казались бесконечными, ибо тянулись из мозга в какую-то область, недоступную созерцанию даже микроскопического глаза, и, будучи, быть может, мыслями высшего порядка, вносили полную путаницу в мысли более простые и уловимые. Перегринус видел пестрые цветы, принимавшие облик людей, видел людей, растворявшихся в земле и затем выглядывавших из нее в виде блестящих камней и металлов. А среди них двигались разные причудливого вида звери, бесконечное число раз менявшие свой образ и говорившие на диковинных языках. Ни одно явление не согласовалось с другими, и в жалостных, раздражающих душу стонах, оглашавших воздух, казалось, находил свое выражение диссонанс явлений. Но это именно разногласие придавало только еще большую прелесть глубокой основной гармонии, победоносно прорывавшейся наружу вечной, несказанной радостью и объединявшей все то, что казалось раздвоенным.

– Не заблуждайтесь, – шептал мастер-блоха, – не заблуждайтесь, добрейший господин Перегринус, то, что вы сейчас созерцаете, это – сонные мысли. Может быть, за ними и кроется нечто большее, но теперь не время заниматься дальнейшим исследованием. Разбудите только обольстительную малютку, назвав ее настоящим именем, и расспрашивайте ее, о чем вам угодно.

Малютка носила разные имена, и потому легко представить, что Перегринусу трудно было найти настоящее. Недолго думая, однако, он воскликнул:

– Дертье Эльвердинк! Милая, прелестная девушка. Неужели это не обман? Возможно ли, что ты действительно меня любишь?

В то же мгновение малютка пробудилась от своих сонных грез, открыла глазки и, устремив на Перегринуса сияющий взгляд, заговорила:

– Да может ли быть в том какое-нибудь сомнение, мой Перегринус? Разве решится девушка на то, на что я решилась, если любовь не пылает в ее груди? Перегринус, я люблю тебя, как никого другого на свете, и если ты хочешь быть моим, то и я – твоя всем сердцем и душою и останусь у тебя, потому только, что не могу расстаться с тобою, а вовсе не по той причине, что хочу избавиться от тирании дяди.

Серебряные нити исчезли, и пришедшие в порядок мысли были таковы: «Как же это случилось? Сперва я прикидывалась, что люблю его, только для того, чтобы вернуть себе и Левенгуку мастера-блоху, а теперь я в самом деле его полюбила. Я попала в собственные сети. Я больше уже не ду-

< маю о мастере-блохе; мне хотелось бы вечно принадлежать I этому человеку, который, оказывается, мне милее всех, кого я до сих пор встречала». Можно себе представить, какой восторг воспламенили эти мысли в душе Перегринуса. Он упал на колени перед прелестницей, стал осыпать ее ручки горячими поцелуями, называл ее своим блаженством, своим счастьем, своим божеством. – Ну, – шептала малютка, тихо привлекая его к себе, – ну, мой милый, мой дорогой, теперь ты, конечно, не откажешь мне в моей просьбе, от исполнения которой зависит все спокойствие, мало того – вся жизнь твоей любимой. – Требуй, – отвечал Перегринус, нежно обнимая малютку, – требуй всего, что ты хочешь, жизнь моя, малейшее твое желание – для меня закон. Все, что только есть у меня самого дорогого, все я с радостью принесу в жертву твоей любви. «Увы мне, – прошептал мастер-блоха. – Кто бы подумал, что коварная победит. Я погиб!» – Слушай же, – продолжала малютка, ответив пламенными поцелуями на горячие поцелуи Перегринуса, которые он запечатлел на ее губах, – слушай же, я знаю, каким образом... Вдруг дверь

распахнулась, и в комнату вошел господин Георг Пепуш. – Цехерит! – вскричала малютка в отчаянии и без чувств упала на софу. Чертополох же Цехерит кинулся к принцессе Гамаhee, схватил ее на руки и с быстротою молнии выбежал с нею из комнаты. На этот раз мастер-блоха был спасен.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЯТОЕ

Весьма примечательное ведение следствия и дальнейшее мудрое и рассудительное поведение господина тайного советника Кнаррпантти. – Мысли молодых поэтов-«энтузиастов» и дам-писательниц. – Размышления Перегринуса о своей жизни и ученость и рассудительность мастера-блохи. – Редкая добродетель и стойкость господина Тиса. – Неожиданный исход опасной и трагической сиены. Благосклонный читатель, верно, помнит, что бумаги господина Перегринуса Тиса были конфискованы для следствия по делу о преступлении, которое вовсе не было совершено. Как депутат совета, так и тайный советник Кнаррпантти внимательно перечли все записки, все письма, даже все мелкие заметки (не исключая списков белья для стирки и кухонных счетов), находившиеся в бумагах Перегринуса, но пришли в своем обследовании к совершенно противоположным заключениям. А именно, депутат доказывал, что в бумагах этих не содержалось ни одного слова, которое могло бы иметь хоть какое-нибудь отношение к преступлению, вменявшемуся в вину Перегринуса. Напротив, зоркое соколиное око господина тайного советника Кнаррпантти обнаружило много такого в бумагах господина Перегринуса Тиса, что выставляло его человеком в высокой степени опасным. Когда-то в ранней своей юности Перегринус вел дневник; в дневнике же этом имелось множество компрометирующих заметок, которые в отношении похищения молодых женщин не только бросали крайне невыгодный свет на его образ мыслей, но и ясно указывали, что он уже не раз совершал такого рода преступления. Так, в одном месте значилось: «Есть что-то высокое и прекрасное в этом Похищении». Далее: «Но ту я похитил, что краше всех!» Далее: «Я похитил у него эту Марианну, эту Филину, эту Миньону!» Далее: «Я люблю эти похищения». Далее: «Юлию во что бы то ни стало должно было похитить, и это действительно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и утащить во время одинокой прогулки в лесу». Кроме этих решающего значения мест, в дневнике нашлось также письмо приятеля с весьма компрометирующей фразой: «Я просил бы тебя похитить у него Фридерiku, как и где ты только сможешь». Все приведенные выражения, равно как и добрая сотня Других фраз, где встречались слова: похищение, похитить, похитил, – мудрый Кнаррпантти не только подчеркнул красным карандашом, но и переписал, сведя их воедино, на особый лист бумаги, что имело вид весьма эффектный. Последней работой тайный надворный советник был особенно удовлетворен. – Взгляните-ка сюда, – сказал Кнаррпантти депутату совета, – взгляните-ка сюда, почтеннейший коллега, ну, разве я был не прав? Этот Перегринус Тис – ужасный, отвратительный человек, прямо-таки настоящий донжуан. Кто знает, где искать теперь всех жертв его похоти, этих несчастных Марианну, Филину и как бы там они ни назывались. Настало крайнее время пресечь его бесчинства, иначе этот опасный человек своими похищениями повергнет в плач и горе весь благословенный град Франкфурт. Какая чудовищная картина преступлений вырисовывается уже по этим его собственным признаниям! Взгляните хотя бы на это место, дражайший коллега, и судите сами, что за ужасные замыслы таит этот Перегринус. Место дневника, на которое мудрый тайный надворный советник Кнаррпантти обратил внимание депутата совета, гласило: «Сегодня я был, к сожалению, в убийственном настроении». Слова «в убийственном» были трижды подчеркнуты, и Кнаррпантти полагал, что речь здесь идет о человеке с преступными намерениями, который сожалеет, что сегодня ему не удалось совершить убийство. Депутат вторично высказал свое мнение, что в бумагах господина Перегринуса Тиса все-таки нет ни малейшего намека на какое-нибудь преступление. Кнаррпантти весьма недоверчиво покачал головой, и тогда депутат попросил его еще раз выслушать все те места, которые тот сам

выделил как подозрительные, но уже в более точном и полном контексте. Благоклонный читатель сейчас сам убедится в высокой проницательности Кнаррпанти. Депутат открыл компрометирующий дневник и прочел: «Сегодня в двадцатый раз смотрел я Моцартову оперу «Похищение из серала», и все с тем же восторгом. Есть что-то высокое и прекрасное в этом Похищении». Далее: Фиалки, вы милы Мне все до единой, Но ту я похитил, Что краше других. Далее: «Я похитил у него эту Марианну, эту Филину, эту Миньону, ибо он уж очень погрузился в эти образы, фантазировал о старом арфисте и ссорился с Ярно. Вильгельм Мейстер – не книга для тех, кто только что оправился от тяжелой нервной болезни». Далее: «Похищение Юнгера – отличная комедия. Я люблю эти похищения, потому что они придают особую жизнь интриге». Далее: «Недостаточно обдуманый план поставил меня в тупик. Юлию во что бы то ни стало должно было похитить, и это действительно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и ута –щить во время одинокой прогулки в лесу. Я необычайно радовался этой новой идее, которую я развил с достаточной обстоятельностью. Вообще эта трагедия была презабавная пачкотня вдохновенного мальчика, и я жалею, что бросил ее в огонь». Письмо было таково: «Как часто ты-<идаешь Фриде-рику в обществе, ты, счастливец! Наверное, Мориц никого не подпускает и завладевает всем ее вниманием. Не будь ты таким робким и таким женоненавистником, я бы просил тебя похитить у него Фридрику, как и где только сможешь». Кнаррпанти, однако, стоял на своем. Он утверждал, что и контекст ничуть не меняет дела, ибо в том и заключается особливая хитрость преступника: он так затемняет смысл фразы, что на первый взгляд она может показаться совершенно безразличной и даже невинной. В виде особого доказательства такой хитрости глубокомысленный Кнаррпанти обратил внимание депутата на один стих, встретившийся в бумагах Перегринуса, в котором шла речь о постоянных ухищрениях судьбы. И немало гордился Кнаррпанти тою проницательностью, с которой он тотчас же распознал, что слово «похищение» в этом стихе изменено, чтобы отвлечь от него внимание и подозрение. Совет все-таки не пожелал входить в дальнейшее обсуждение дела об обвиняемом Перегринусе Тисе, и правоведы применили к данному случаю одно выражение, которое уже потому здесь будет уместно привести, что оно чудно выделяется в сказке о повелителе блох, и если главным и существенным украшением сказки является чудесное, то и чудное, как приятный завиток, не следует устранять из нее. Они (то есть правоведы) изрекли, что в обвинительном акте не хватает одного, именно *corpus delicti* (состав преступления (лат.)); но мудрый советник Кнаррпанти продолжал твердо стоять на своем, говоря, что плевать ему на *delictum*, иметь бы только в руках самое *corpus* (игра слов: *Corpus* – имеет также значение «тело» (лат.), ибо *corpus* и есть опаснейший похититель и убийца, господин Перегринус Тис. Издатель просит тех из своих благоклонных читателей, кои незнакомы с юриспруденцией, особенно же каждую из своих прекрасных читательниц, обратиться за разъяснением этого места к какому-нибудь юному правоведу. Сей правовед тотчас же приосанится и начнет: «В правоведении именуется...» – и т. д. Достаточным поводом для допроса господина Перегринуса Тиса депутат считал только лишь ночное происшествие, о котором дали показания свидетели. Перегринус попал в немалое затруднение, когда депутат стал допрашивать его относительно того, как было дело. Он чувствовал, что ежели он ни в чем решительно не отступит от истины, то весь рассказ его именно потому и покажется лживым или по меньшей мере в высшей степени неправдоподобным. Он почел поэтому за самое благоразумное обо всем умолчать и построил свою защиту на том, что, покуда не установлен самый факт преступления, в котором его обвиняют, он не считает нужным давать объяснения по поводу тех или иных происшествий в своей жизни. Это заявление обвиняемого привело Кнаррпанти в полный восторг, как подтверждающее все его подозрения. Он довольно-таки откровенно высказал депутату, что тот не умеет как следует взяться за дело, депутат же был достаточно умен и понял, что если поручить вести допрос самому Кнаррпанти, то Перегринусу это не только не повредит, но скорее даже решит все дело в его пользу. Проницательный Кнаррпанти имел наготове не меньше сотни вопросов, которыми он атаковал Перегринуса и на которые

действительно часто нелегко было ответить. Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем думал Перегринус как вообще всю свою жизнь, так, в частности, при тех или других обстоятельствах, например при записывании подозрительных слов в свой дневник. Думание, полагал Кнаррпант, уже само по себе, как таковое, есть опасная операция, а думание опасных людей тем более опасно. Далее задавал он и такие лукавые вопросы, как, например, кто был тот пожилой человек в синем сюртуке и с коротко остриженными волосами, с которым он двадцать четвертого марта прошлого года за обеденным столом договорился о лучшем способе приготовления рейнской лососины? Далее: не очевидно ли для него самого, что все таинственные места в его бумагах справедливо возбуждают подозрение, ибо все то, что им было оставлено незаписанным, могло содержать много еще более подозрительных вещей и даже полное сознание в содеянном преступлении? Такой способ ведения допроса, да и собственная персона тайного советника Кнаррпант показались Перегринусу столь странными, что его охватило любопытство узнать подлинные мысли этого хитрейшего крючка. Он щелкнул пальцами, и послушный мастер-блоха мигом вставил в зрачок ему микроскопическое стекло. Мысли Кнаррпант гласили приблизительно следующее: «У меня и в мыслях не было, что молодой человек похитил, даже мог похитить нашу принцессу, которая уже несколько лет как удрала с бродячим комедиантом. Но мне нельзя было упускать случай поднять шум для восстановления своей репутации. Мой государь стал проявлять ко мне равнодушие, и при дворе уже называли меня скучным фантазером и даже частенько находили глупым и пошлым, а между тем никто еще не превзошел меня ни умом, ни вкусом, никто не знает, как я, всех тех маленьких услуг, которыми приобретают милость у государя. Не помогал ли я лично княжескому камердинеру при церемонии чистки сапог? И тут как небесный дар свалилась эта история с похищением. Своим донесением о том, что я напал на след бежавшей принцессы, я сразу вернул себе положение, которое было уже потерял. Опять уже находят меня умным, мудрым, ловким, а главное, столь преданным государю, что присваивают мне имя опоры государства, на которой покоится всеобщее благоденствие. Из этой канители не выйдет ровно ничего, да и не может выйти, так как подлинно случившееся похищение не удастся приписать этому господину, но это не играет никакой роли. Именно поэтому я и помучаю сейчас молодчика таким перекрестным допросом, как один только я умею. Ибо чем больше я тут постараюсь, тем выше будет и похвала мне за проявленные мною интерес к делу и ревность ко благу моего государя. Мне бы только добиться, чтобы молодчик растерялся, и выжать из него несколько заносчивых ответов. Тогда я жирно подчеркну их красным карандашом, присовокуплю соответственные примечания и представлю в таком двусмысленном свете нашего молодца, что все только рты разинут. А отсюда подымется дух ненависти, который навлечет на его голову всякие беды и восстановит против него даже таких беспристрастных, спокойных людей, как этот господин депутат. Да здравствует искусство бросать черную тень на самые безобидные, вещи! Таким даром наделила меня природа, и в силу его я разделяюсь с моими врагами, а сам продолжаю благоденствовать. Меня потешает, что совет диву дается на мое рвение к раскрытию всей истины, тогда как я думаю только о себе и рассматриваю все дело как средство усилить свое влияние при дворе и получить возможно больше и похвал и денег. Пусть даже ничего из этого не выйдет, и все-таки никто не скажет, что мое усердие пропало даром, а скорее уж найдут, что я был прав, приняв все меры к тому, чтобы помешать этому плуту Перегринусу Тису впоследствии действительно похитить уже похищенную принцессу». Естественно, что Перегринус, прозрев таким образом мысли великолепного тайного советника, сумел сохранить надлежащее самообладание и, вместо того чтобы растеряться, чего так добивался Кнаррпант, своими находчивыми ответами посрамил все его остроумие. Депутат совета был, кажется, весьма тем порадован. И после того как Кнаррпант закончил свой нескончаемый допрос – главным образом потому, что ему не хватило дыхания, – Перегринус, безо всякого к тому понуждения, в немногих словах рассказал депутату о том, что молодая дама, которую он принес к себе в дом в ту

рождественскую ночь по ее же настоятельной просьбе, была не кто иная, как племянница оптического мастера Левенгука, по имени Дертье Эль-вердинк, и что ныне она находится у своего крестного отца, господина Сваммера, снимающего квартиру в его доме. Показание признали соответствующим истине, и на этом достопримечательное дело о похищении было закончено. Кнаррпант, правда, настаивал на дальнейшем допросе и зачитал совету весь свой остроумнейший протокол, но это образцовое произведение вызвало общий громкий смех. Вслед за тем совет также постановил предложить господину тайному надворному советнику Кнаррпант оставить Франкфурт и лично передать своему государю достопримечательнейший протокол всего дела как достойный результат усердия и как доказательство его проницательности и служебного рвения. Необычайный процесс о похищении стал предметом общих разговоров по всему городу, и Кнаррпант не мог не обратить внимания, к немалой своей досаде, что при встрече с ним прохожие, в знак своего нескрываемого отвращения, зажимали носы, если же он садился за общий стол в гостинице, его соседи немедленно покидали свои места. Скоро он убрался вон из города. Так пришлось Кнаррпанту со стыдом и срамом очистить то поле битвы, на котором он надеялся пожать лавры. Нужно сказать, что рассказанные на последних страницах события заняли в действительности немало дней, ибо ясно, что Кнаррпант не смог бы в короткий срок написать объемистый фолиант. А фолиантом смело можно было назвать его достопримечательный протокол за его почтенные размеры. Ежедневные приставания Кнаррпанта и все его глупейшее, самоуверенное поведение возбудили глубокое негодование в Перегринусе; недовольство его усугублялось еще тем, что он пребывал в полной неизвестности относительно судьбы своей красавицы. Как было сообщено благосклонному читателю в конце четвертого приключения, Георг Пепуш с молниеносной быстротой похитил малютку из объятий влюбленного Перегринуса, ошолбевшего от изумления и ужаса. Когда Перегринус пришел наконец в себя, вскочил и бросился вдогонку за разбойником, в доме уже была мертвая тишина. На повторный громкий его зов старая Алина притащилась, шлепая туфлями, из отдаленной комнаты и стала уверять, что ничего не слыхала и не видала. Потеря Дертье довела Перегринуса почти до исступления. Но мастер-блоха нашел для него слова утешения. «Вы еще даже не знаете, – произнес он тоном, который мог бы ободрить и самого безутешного, – вы еще даже не знаете, дорогой мой господин Перегринус Тис, действительно ли Дертье Эльвердинк покинула ваш дом. Насколько я понимаю в этих делах, она должна быть совсем неподалеку; своим чутьем я угадываю ее близость. Но если только вы доверяете моей дружбе, послушайте моего совета: предоставьте Дертье ее судьбе. Поверьте мне, эта крошка – существо в высшей степени непостоянное: может статься, что она и полюбила вас сейчас, как вы изволили мне доложить, но надолго ли? И вас это неминуемо повергнет в такую тоску и печаль, что вам грозит потерять рассудок, как это случилось с чертополохом Цехеритом. Еще раз говорю вам, оставьте ваше затворничество. Вам же самому будет тогда гораздо лучше. Много ли девушек видели вы на своем веку, что считаете Дертье такой красавицей, какой и свет не производил; вы думаете, что только Дертье может любить вас, а обращались ли вы до сих пор к какой-нибудь женщине со словами любви? Ступайте, ступайте в свет, Перегринус, опыт убедит вас, что мир не так плох, как вам кажется. Вы красивый, статный мужчина, и не будь я мастер-блоха, со всем присущим мне умом и проницательностью, если ошибусь, говоря, что вам еще улыбнется счастье любви совсем по-иному, чем вы сейчас можете предполагать». Перегринус уже проложил себе дорогу тем, что побывал на публичном гулянье, и теперь ему было не так трудно решиться на посещения общества, коего он раньше избегал. Мастер-блоха оказывал ему при этом большие услуги своим микроскопическим стеклом, и Перегринус завел в это время дневник, занося в него те удивительнейшие и забавнейшие контрасты между словами и мыслями, которые наблюдал ежедневно. Быть может, издатель необычайной сказки, именуемой «Повелитель блох», найдет впоследствии случай опубликовать многие достопримечательные места этого дневника; но здесь это задержало бы повествование и потому было бы неприятно благосклонному

читателю. Можно, сказать только одно, что многие изречения с относящимися к ним мыслями сделались стереотипными. Так, например, фразе: «Не откажите мне в вашем совете» – соответствовала мысль: «Он достаточно глуп, думая, что мне действительно нужен его совет в деле, которое мною уже решено, но это льстит ему!»; «Я совершенно полагаюсь на вас!» – «Я давно знаю, что ты прохвост» и т. д. Наконец, нужно еще заметить, что многие при его микроскопических наблюдениях повергали Перегринуса в немалое затруднение. То были, например, молодые люди, которые от всего приходили в величайший энтузиазм и разливались кипучим потоком самого пышного красноречия. Среди них красивее и мудренее всего выражались молодые поэты, преисполненные фантазии и гениальности и обожаемые преимущественно дамами. В одном ряду с ними стояли женщины-писательницы, которые, как говорится, хозяйничали, будто у себя дома, в самых что ни на есть глубинах бытия, во всех тончайших философских проблемах и отношениях социальной жизни и рассуждали обо всем этом в таких эффектных выражениях, точно произносили воскресную проповедь. Если Перегринусу показало удивительным, что серебряные нити уходили из мозга Гамахеи в какую-то неисследованную область, то не менее его поразило и то, что открылось ему в мозгу у этих людей. Он увидел и у них странное переплетение жилок и нервов, но тут же заметил, что как раз при самых красноречивых разглагольствованиях их об искусстве, науке, вообще о высших вопросах жизни, эти нервные нити не только не проникали в глубь мозга, но, напротив, развивались в обратном направлении, так что не могло быть и речи о ясном распознании их мыслей. Он сообщил это свое наблюдение мастеру-блохе, сидевшему, по обыкновению, в складке его галстука. Мастер-блоха выразил мнение, что принимаемое Перегринусом за мысли были вовсе не мысли, а только слова, тщетно старавшиеся стать мыслями. Многое забавляло и веселило господина Перегринуса Тиса в обществе, а между тем и его верный спутник, мастер-блоха, немало посбавил своей прежней серьезности и выказал себя лукавым маленьким сластолюбцем, своего рода aimable gou (плутоватый любезник (фр.)). Он не мог видеть ни одной стройной женской шейки, ни одного белого затылка, чтобы при первом удобном случае не перепрыгнуть из своего укромного уголка на соблазнительное местечко, где он умел замечательно ловко ускользать от преследования тоненьких пальчиков. Маневр этот имел двоякую цель. Во-первых, он сам находил в этом наслаждение, а затем хотел привлечь и взор Перегринуса на прелести, которые могли бы затмить образ Дертье. Впрочем, все это были, казалось, напрасные старания, ибо ни одну из дам, к которым Перегринус приближался теперь без всякой робости и с полной непринужденностью, не находил он равной по красоте и привлекательности своей маленькой принцессе. Всего же более укрепляло его любовь к малютке то обстоятельство, что ни у кого другого он не встречал такого полного согласования слов и мыслей в свою пользу, как у нее. Ему казалось, что он никогда не сможет ее забыть, и откровенно это высказывал. И это немало беспокоило мастера-блоху. Однажды Перегринус заметил, что старая Алина чему-то лукаво посмеивается, чаще обыкновенного нюхает табак, покашливает, бормочет что-то невнятное – короче, всем своим поведением показывает, что у нее есть что-то такое на сердце, что очень бы хотелось ей разболтать. При этом на все, кстати и некстати, у нее был только один ответ: «Да! – как знать, подождем – увидим!» – Ну, полно же, – вскричал наконец, потеряв терпение, Перегринус, – ну, полно же, Алина, скажи лучше прямо, что случилось, чем ходить вокруг да около с таинственными минами. – Ах! – воскликнула старуха, сжимая свои костлявые кулаки. – Ах, наша-то миленькая, хорошенькая сахарная куколочка, ах она ненаглядная! – О ком ты говоришь? – досадливо перебил Перегринус старуху. – Ай, ай, ай, – продолжала старуха, ухмыляясь, – ай, ай, ай, да о ком же мне говорить-то, господин Тис, как не о нашей милой принцессе, как не о вашей милой невесте, что там внизу у господина Сваммера. – Несчастная, – возопил Перегринус, – несчастная, она – здесь, здесь в доме, и ты лишь теперь говоришь мне о том? – Да где же еще, – возразила старуха, нимало не теряя своего безмятежного спокойствия, – да где же еще и быть принцессе, как не здесь, где она обрела свою мать. – Как! – вскричал Перегринус. – Как! что говоришь! ты, Алина? – Да, – сказала старуха, высоко подняв голову, – да, Алина, это мое

настоящее имя, и кто знает, что еще не замедлит открыться перед вашей свадьбой. Не обращая ни малейшего внимания на нетерпение Перегринуса, заклинавшего ее всеми святыми говорить, продолжать свой рассказ, старуха преспокойно уселась в кресло, вытащила табакерку, взяла добрую понюшку табаку и затем принялась обстоятельно и многоречиво доказывать ему, что нет большего и вреднейшего порока, чем нетерпение. – Спокойствие, – говорила она, – спокойствие, сыночек, тебе нужнее всего, иначе тебе грозит опасность все потерять в то самое мгновение, когда думаешь, что всего уже достиг. Прежде чем ты услышишь от меня хоть одно словечко, ты должен усесться вон там, как послушное дитя, и ни одним словом не перебивать моего рассказа. Что оставалось Перегринусу, как не повиноваться старухе, которая, как только Перегринус уселся, поведала ему немало диковинных и невероятных вещей. По рассказу старухи, оба почтенных господина, Сваммердам и Левенгук, продолжали свою драку и в комнате, причем ужасно шумели и бесновались. Потом вдруг все стихло, только глухое стенание возбудило опасения старухи, не ранен ли кто-нибудь из них насмерть. Любопытствуя, она стала смотреть в замочную скважину и увидела совсем не то, что ожидала. Сваммердам и Левенгук схватили Георга Пепуша и терли и давили его своими кулаками так, что он становился все тоньше, причем он-то и издавал те стенания, что донеслись до старухи. Когда наконец Пепуш стал тонок, как стебель чертополоха, они попытались просунуть его сквозь замочную скважину. Уже половина тела бедного Пепуша перевесилась в сени, когда старуха в ужасе стремглав бросилась прочь от двери. Вскоре затем старухе послышался громкий раскатистый смех, и она увидела, как оба мага самым мирным образом выводили из дома Пепуша в его натуральном виде. В дверях комнаты стояла прекрасная Дертье и звала к себе старуху. Она собиралась принарядиться, и ей нужна была помощь старухи. Старуха не могла достаточно наговориться о великом изобилии платьев – одно другого лучше и богаче, – которые малютка вытащила из разных старых шкафов и показывала ей. А такими драгоценностями, как были у малютки, по уверениям старухи, могла обладать только какая-нибудь индийская принцесса; еще и сейчас у нее глаза болят от ослепительного их блеска. Старуха рассказала дальше, как они болтали о том о сем во время одевания, как она вспомнила покойного господина Тиса, прежнюю веселую жизнь в доме и как, наконец, дошла и до своих усопших родственников. – Вы знаете, – говорила старуха, – вы знаете, милый господин Тис, что я никого так не почитаю, как мою покойную тетюшку, жену набойщика. Она бывала в Майнце и, кажется, даже в Индии и умела молиться и петь по-французски. Если я и обязана тетюшке нехристианским именем Алины, то я охотно прощаю это покойнице, потому что зато от нее одной научилась я тонкому обращению, галантерейности и светскому красноречию. Когда я довольно уже порассказала о тетюшке, малютка принцесса стала спрашивать о моих родителях, о дедушке и бабушке и так все дальше и дальше, о всей моей родословной. Я открыла ей всю свою душу, рассказала ей без утайки, что моя мать почти не уступала мне в красоте, хотя я и превосхожу ее в отношении носа, который я унаследовала от отца, притом именно такой формы, какая была в его роду с незапамятных времен. Затем я стала рассказывать ей, как на храмовом празднике танцевала национальный танец с сержантом Хеберпипом и как надела небесно-голубые чулки с красными стрелками. Что говорить! все мы люди слабые, грешные. Но тут, господин Тис, если бы вы только видели сами, как маленькая принцесса, которая сперва все хихикала и подсмеивалась, становилась все тише и тише и уставилась на меня такими странными глазами, что мне стало совсем как-то не по себе. И, подумайте, господин Тис, я и оглянуться не успела, как малютка принцесса падает передо мной на колени и хочет непременно поцеловать мою руку и восклицает: «Да, это ты, только теперь узнаю я тебя, да, это ты сама!» Когда же я в полном изумлении спросила, что это должно означать... Тут старуха остановилась и, когда Перегринус стал ее упрасивать продолжать рассказ, взяла с невозмутимым спокойствием добрую понюшку табаку и сказала: – В свое время узнаешь, сынок, что случилось дальше. Всеу свое время и свой час! Перегринус принялся еще настойчивее от нее требовать, чтобы она сказала ему все, но вдруг она разразилась громким хохотом. Перегринус напомнил ей, насупившись довольно сурово,

что его комната не место для дурацких шуток. Но старуха, подперши бока руками, казалось, готова была задохнуться от смеха. Огненно-красный цвет ее лица приобрел приятный оттенок темно-вишневого, и Перегринус намеревался уже плеснуть ей в лицо полный стакан воды, как она пришла в себя и смогла продолжать свою речь. – Да можно ли, – сказала она, – да можно ли не смеяться над этой маленькой дурочкой! Нет, другой такой любви больше не сыскать на земле! Подумайте только, господин Тис. – И старуха снова расхохоталась, а терпение Перегри-нуса готово было лопнуть. Наконец он добился от нее с трудом, что маленькая принцесса помешалась на мысли, будто он, господин Перегринус Тис, во что бы то ни стало хочет жениться на старухе и потому она, старуха, должна ей дать торжественное обещание, что откажет ему. Перегринусу показалось, точно он запутался в какой-то чертовщине, и ему стало до того не по себе, что даже сама старая почтенная Алина представилась ему каким-то призраком, от которого нужно бежать как можно скорее. Но старуха не пустила его, говоря, что ей нужно немедленно доверить ему нечто, касающееся маленькой принцессы. – Теперь несомненно, – сказала она серьезно, – теперь несомненно, что над вами, милый мой господин Перегринус, взошла прекрасная, светлая звезда счастья, и уже ваше дело' не потерять милости этой звезды. Когда я стала уверять крошку, что вы безумно влюблены в нее и далеки от всякой мысли на мне жениться, она сказала, что не поверит тому и не отдаст вам своей руки до тех пор, пока вы не исполните одного ее желания, которое давно уже затаила она в глубине сердца. Малютка утверждает, будто вы приютили у себя маленького хорошенького негритенка, ее слугу, сбежавшего от нее; я было стала ей возражать, но она утверждает, что мальчишка до того мал, что может поместиться в ореховой скорлупе. Вот этого-то негритенка... – Этому не бывать, – вскричал Перегринус, давно уже догадавшийся, куда клонилась речь Алины, и стремительно бросился вон из комнаты и из дому. По старому, традиционному обычаю герой повести в случае сильного душевного волнения должен бежать в лес или по меньшей мере в уединенную рощицу. Обычай этот потому хорош, что он господствует и в действительной жизни. Таким-то вот образом и господин Перегринус Тис, покинув свой дом на Конной площади, бежал без передышки все вперед, пока, оставив за собой город, не достиг близлежащей рощи. Далее, ни в одной роще романтической повести не должно быть недостатка ни в шелесте листвы, ни во вздохах и шепоте вечернего ветерка, ни в журчании ручья и т. д., а потому, само собой разумеется, Перегринус нашел все это в своем убежище. Присев на поросший мхом камень, до половины погруженный в зеркальные воды ручья, игравшего и журчавшего около него, Перегринус твердо решил, обдумав все последнее странное происшествие, отыскать ариаднину нить, которая выведет его из этого лабиринта удивительнейших загадок. Шелест листвы, ритмически затихающий и возобновляющийся, однотонное плескание воды, равномерный стук мельницы вдаль – все эти звуки легко могут слиться в один основной аккорд, на который настраиваются и мысли, уже не бродящие без ритма и такта, но оформляющиеся в ясную мелодию. Так и Перегринус, посидев недолгое время в этом приветливом уголке природы, пришел в спокойное, созерцательное настроение. «В самом деле, – говорил сам с собой Перегринус, – даже самый фантастический сказочник не выдумал бы таких бестолковых и запутанных приключений, какие я пережил в действительности за эти немногие дни. Красота, восторги, сама любовь шествуют навстречу отшельнику-мизогину, и одного взгляда, одного слова достаточно, чтобы возжечь в его груди пламя, мук которого он боялся, еще не зная их. Но место, время, все обстоятельства появления чуждого обольстительного существа столь таинственны, что заставляют подозревать какое-то колдовство; а вслед за тем маленькое, крохотное, обыкновенно презираемое насекомое выказывает ученость, ум и, наконец, даже чудесную магическую силу. И это насекомое говорит о вещах, непостижимых для человеческого разума, как о чем-то таком, что изо дня в день повторяется за блюдом жаркого или за бутылкой вина. Не подошел ли я слишком близко к маховому колесу, движимому мрачными, неведомыми силами, и оно захватило и закрутило меня? Можно ли сохранить рассудок, переживая все это? А между тем я чувствую себя как ни в чем не бывало; мне даже больше не кажется

удивительным, что король блох прибегнул под мое покровительство и за это поверил мне тайну, которая дает мне проникнуть в самые сокровенные мысли людей и тем возвышает меня над всяким житейским обманом. Но куда приведет, куда сможет привести все это? Что, если под причудливой личиной блохи таится злой демон, замысливший меня завлечь и погубить, задавшийся гнусной целью похитить у меня все счастье любви, что сулит мне обладание Дертье? Не лучше ли было бы сейчас! же избавиться от этого маленького чудовища?» – Последняя ваша мысль, – перебил мастер-блоха рассуждения Перегринуса, – последняя ваша мысль была очень неделикатна, господин Перегринус Тис! Неужели вы' полагаете, что тайна, которую я вам поверил, так уж маловажна? Разве не кажется вам этот мой подарок непреложным доказательством моей искренней дружбы? Стыдитесь своей недоверчивости! Вы дивитесь уму и силе духа крохотного, обычно презираемого насекомого, и это доказывает – не во гнев вам будь сказано – по меньшей мере недостаточность вашего научного образования. Я бы посоветовал вам почитать, что говорится о мыслящей и управляемой собственной волей душе животных у греческого философа Филона или по крайней мере в трактате Иеронима Рорария «*quod animalia bruta ratione utantur melius homine*» (почему неразумные живые существа чаще пользуются разумом, нежели люди (лат.)или в его же «*oratio pro muribus*» (речь в защиту мышей (лат)). Вы должны были бы знать также, что думали Липсиус и великий Лейбниц об умственных способностях животных или что сказал ученый и мудрый раввин Маймонид о душе животных. Едва ли тогда вы приписали бы мой ум тому, что я некий злой демон, и уж не стали бы! мерить духовную силу ума по физическим размерам тела. Мне думается, что в конце концов вы склоняетесь к остроумному воззрению испанского врача Гомеса Перейры, который видит в животных только искусно сделанные машины без способности мышления, без свободной воли, движущиеся произвольно, автоматически. Но нет! я не допускаю, что вы можете дойти до такой пошлости, добрейший мой господин Перегринус Тис, и твердо уверен, что благодаря моей ничтожной особе вы давно уже усовершенствовались! свой взгляд на вещи. Далее, я не совсем понимаю, что называете вы чудом, драгоценнейший господин Перегринус, или как это вы делите на чудесные и нечудесные явления нашего бытия, которые, собственно говоря, суть опять-таки мы сами, ибо они нас и мы их взаимно обуславливаем. Если же вы чему-нибудь удивляетесь потому, что вам ничего такого еще не случилось встречать, или потому, что вам не удастся уловить связь между причиной и следствием, то это доказывает лишь врожденную или болезненную тупость вашего взгляда, которая вредит вашей способности познавать. Но – не во гнев вам будь сказано, господин Тис, – смешнее всего то, что вы сами хотите разделить себя на две части, из коих одна вполне допускает так называемые чудеса и охотно в них верит, другая же, напротив, крайне удивляется этому допущению и этой вере. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, верите ли вы сновидениям? – Послушайте, – перебил Перегринус маленького оратора, – послушайте, дорогой мой! ну, как вы можете говорить о сновидении, которое есть только результат какого-нибудь беспорядка в нашем телесном или духовном организме. При этих словах господина Перегринуса мастер-блоха разразился тонким и саркастическим смехом. – Бедный, – сказал он несколько смущенному Перегринусу, – бедный господин Тис, как мало просветлен ваш разум, что вы не видите всей глупости такого мнения? С той поры как хаос слился в готовую для формовки материю – а это было довольно-таки давно, – мировой дух лепит все образы из этой предлежащей материи и из нее же возникают и сновидения с их картинами. И эти картины – не что иное, как очертания того, что было, а возможно, и того, что будет, которые дух быстро и прихотливо набрасывает, когда тиран, именуемый телом, освобождает его от рабской службы ему. Но здесь не время и не место оспаривать ваши мнения и пытаться переубедить вас; да возможно, что это было бы и бесполезно. Мне хотелось бы только открыть вам еще одну вещь. – Говорите, – воскликнул Перегринус, – говорите или молчите, дорогой мастер, делайте так, как найдете лучшим; я достаточно убедился в том, что как вы ни крохотны, а ума и глубокой учености у вас куда больше, чем у меня. Вы приобрели мою безграничную доверенность, хотя я и не всегда понимаю ваши

аллегии. – Так узнайте, – начал снова мастер-блоха, – узнайте же, что вы запутаны в историю принцессы Гамахеи совершенно особенным образом. Сваммердам и Левенгук, чертополох Цехерит и принц пиявок и, сверх того, еще гений Тетель – все они стремятся к обладанию прекрасной принцессой, да я и сам должен сознаться, что, к сожалению, и моя старая любовь пробудилась, и я мог быть настолько глуп, чтобы разделить мое владычество с прекрасной изменницей. Но вы, вы, господин Перегринус, вы здесь – главное лицо, и без вашего согласия прекрасная Гамахея никому не может принадлежать. Если вам желательно узнать более глубокую связь событий и всю суть этого дела, которых я сам не знаю, вам надлежит побеседовать о том с Левенгуком, который уже до всего доискался и, конечно, проговорится, если только! вы постараетесь и сумеете как следует его повыспросить. Мастер-блоха хотел продолжать свою речь, как вдруг из кустов выскочил какой-то человек и яростно набросился на Перегринуса. – Ага! – кричал Георг Пепуш (это был он), дико размахивая руками. – Ага, коварный, вероломный друг! Так я нашел тебя! Нашел в роковой час! Вставай же, пронзи эту грудь или пади от моей руки! И Пепуш выхватил из кармана пару пистолетов, всунул один из них в руку Перегринуса, а сам с другим стал в позу, вскричав: – Стреляй, жалкий трус! Перегринус стал на место, но заявил, что ничто не заставит его совершить такое безумство – стреляться со своим? единственным другом, даже не подозревая из-за чего. И уж ни в коем случае он первый не посягнет на жизнь друга. На это Пепуш дико захохотал, и в то же мгновение пуля! вылетела из его пистолета и прострелила шляпу Перегринуса. Тот, не поднимая шляпы, свалившейся на землю, в глубоком молчании уставился на друга. Пепуш приблизился к Перегринусу на несколько шагов и глухо пробормотал: – Стреляй! Тогда Перегринус быстро разрядил пистолет в воздух. С громким воплем, как безумный, бросился Георг Пепуш на грудь своего друга и закричал раздирающим душу голосом: – Она умирает – она умирает от любви к тебе, несчастный! Спешу – спаси ее – ты можешь это! – и спаси ее для себя, а мне дай погибнуть в диком отчаянии! И Пепуш убежал прочь с такой быстротой, что Перегринус потерял его в ту же минуту из виду. Тяжкое беспокойство овладело Перегринусом, он подумал, не вызвано ли бешеное поведение его друга каким-нибудь несчастьем с милой малюткой. Стремительно поспешил он назад в город. Дома старая Алина встретила его громкими причитаниями, что бедная прекрасная принцесса внезапно очень сильно занемогла и, наверно, скоро умрет; старый господин Сваммер сам лично пошел за лучшим врачом Франкфурта. Убитый горем, Перегринус на цыпочках вошел в комнату Сваммера, дверь которой открыла ему старуха. Бледная, неподвижная как труп, лежала малютка на софе, и Перегринус расслышал ее тихое дыхание, только став на колени и наклонившись над ней. Как только Перегринус взял холодную как лед руку бедняжки, на ее бледных губах заиграла болезненная улыбка и она прошептала: – Это ты, мой милый друг? Ты пришел сюда взглянуть еще разок на ту, которая тебя так невыразимо любит? Ах! оттого ведь она и умирает, что не может дышать без тебя! Перегринус, почти обезумев от горя, разразился уверениями в своей бесконечной любви, твердя, что нет ничего в мире, чем бы он не пожертвовал для своей милой. Слова перешли в поцелуи, а в поцелуях как дыхание любви послышались снова слова. – Ты знаешь, – невнятно звучали ее слова, – ты знаешь, мой Перегринус, как велика моя любовь к тебе. Я могу быть твоей, а ты моим, я могу тотчас же выздороветь, и ты увидишь меня расцветшей в свежем блеске юности; как цветок, напоенный утренней росой, подниму я радостно свою поникшую голову, но – отдай мне пленника, мой дорогой, любимый Перегринус, а то я на твоих глазах изойду в несказанной смертной муке! Перегринус – я больше не могу – все кончено. И малютка, только что приподнявшаяся наполовину, вновь поникла на подушки, грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, как в предсмертном борении, губы посинели, взор, казалось, угасал. В дикой тоске схватился Перегринус за галстук, но мастер-блоха уже сам прыгнул на белую шею малютки, воскликнув голосом глубочайшей скорби: «Я погиб!» Перегринус протянул руку, чтобы схватить мастера; но вдруг точно незримая сила удержала его руку, и совсем другие мысли, чем те, которые переполняли его только что, мелькнули у него в голове. «Как, – думал он, – ты, слабый человек, предавшийся бешеной

страсти, в безумии любовного вождения принявший за истину ловкий обман, ты хочешь вероломно предать того, кому обещал свое покровительство? Ты хочешь заковать в цепи вечного рабства свободный безобидный народец, навеки погубить единственного друга, у которого слова никогда не расходятся с мыслями? Нет, нет, опомнись, Перегринус! – лучше смерть, чем измена!» – Дай... мне... пленника... умираю! – Так, запинаясь, лепетала малютка угасающим голосом. – Нет, – воскликнул Перегринус, в диком отчаянии хватая малютку в свои объятия, – нет – никогда, но дай мне с тобой умереть! В это мгновение послышался резкий гармонически! звук, точно кто-то ударял в маленькие серебряные колокольчики; внезапно губы и щеки Дертье зарозовели, она вскочила с софы и принялась прыгать вокруг по комнате, разсыпавшись судорожным смехом. Можно было подумать, что ее укусила тарантул. В ужасе глядел Перегринус на жуткое зрелище, в ужас взглянул на это и доктор, остановившийся в дверях как окаменелый и загородивший вход в комнату следовавшему ним господину Сваммеру.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШЕСТОЕ

Диковинное занятие странствующих фигляров в винном погребе, сопровождавшееся изрядными побоями. – Трагическая история про портняжку из Саксенгаузена. – Как Георг Пепуш приводит в удивление почтенных людей. – Гороскоп. – Веселая борьба старых знакомых в комнате Левенгука. Все проходившие мимо погребка останавливались, вытягивали шеи и заглядывали в окна. Все гуще становилась толпа, все сильнее толкотня, давка, шум, гам, смех, суета. При чиноу всей этой суматохи были два незнакомца, зашедшие погребок. И лицами, и одеждой, и всем своим обликом они отличались от жителей Франкфурта, и в их наружности было что-то сразу и отталкивающее и смехотворное, но главное любопытство вызывали те невероятные и невиданные штуки, которые они выделывали. Один из них, отвратительно грязный старик, был одет в длинный и очень узкий сюртук из черной, порыжевшей и лоснящейся материи. Он как-то ухитрился то удлиниться и худеть, то сжиматься в коротконового толстяка, всего же диковиннее было то, что при этом он извивался, как червяк. Другой, с высоким хохлом на голове, в пестром шелковом кафтане и таких же штанах, с большими серебряными застежками, походивший на петиметра второй половины прошлого столетия, раз за разом взлетал вверх к потолку и плавно спускался назад, все время напевая сильным голосом крайне неблагозвучные песни на каком-то совершенно неведомом языке. По рассказам хозяина, оба они, один вслед за другим вошли в кабачок, как вполне благоприличные посетители, и спросили вина. Потом они стали все пристальнее и пристальнее глядеть друг на друга и завели разговор. Хотя никто из гостей не понимал их языка, однако ж по тону разговора и по жестам видно было, что они о чем-то горячо заспорили. Вдруг они встали, приняли свой теперешний вид и начали выделывать те безумные штуки, что собрали такую толпу зрителей. – Молодец-то, – воскликнул один из зрителей, – молодец-то, что так здорово летает вверх и вниз, ведь, пожалуй, часовщик Деген из Вены, тот самый, что изобрел летательную машину и то и дело кувыркался с ней вверх тормашкой и падал на нос? – Ах нет, – возразил другой, – это не птица Деген. Скорее я бы подумал, не портняжка ли это из Саксенгаузена, если б только не знал, что бедняжка сгорел. Не знаю, известна ли благосклонному читателю достопримечательная история о портняжке из Саксенгаузена? Вот она. История про портняжку из Саксенгаузена Однажды в воскресный день смиренный и кроткий саксенгаузенский портняжка, прекрасно разодетый, шел из церкви со своей любезнейшей супругой. Воздух был резкий, накануне за ужином портняжка ничего не ел, кроме половины яйца всмятку да маринованного огурчика, поутру же выпил только чашечку кофе. Вот ему и было не по себе – потому еще, что в церкви пел он, не щадя голоса, – и захотелось ему выпить рюмочку желудочной. Всю неделю он работал прилежно и был чрезвычайно внимателен к своей любезнейшей супруге, которой сшил даже порядочную юбку из обрезков, падавших под стол при кройке. Вот любезная супруга и позволила ему зайти в аптеку, чтобы выпить рюмочку сердцекрепительного. Портняжка так и сделал: вошел

в аптеку и спросил желудочной. Неопытный мальчишка, оставшийся один в аптеке, так как и рецептариус и главный провизор – одним словом, все, кто были поумнее, – отлучились, ошибся и достал с полки закупоренную фляжку вовсе не с желудочным эликсиром, а с горючим воздухом, которым наполняют воздушные шары. Его-то и налил мальчишка полный стаканчик; недолго думая портняжка поднес стаканчик ко рту и жадно стал глотать воздух, пришедшийся ему очень по вкусу. Но тут он почувствовал себя совсем как-то чудно, точно у него за плечами выросли крылья или кто-нибудь стал игра им как мячом. В самом деле, он стал то взлетать, то опускаться, да все выше и выше под самый потолок аптеки. – О господи Иисусе, – воскликнул он, – как же это сделался таким ловким плясуном! А мальчишка рот разинул от удивления. Случилось тут, что кто-то вдруг отворил дверь так стремительно, что окно насупротив распахнулось. В ту же минуту сильный сквозняк подхватил портняжку, и быстро, как ветер, вылетел он в открытое окно; так его больше никто и не видел. Немало времени спустя жители Саксенгаузена как-то вечером увидели в небе огненный шар, который озарил всю окрестность своим блеском и затем, угасши, упал на землю. Все хотели знать; что упало на землю, бросились бегом к месту падения, но нашли там всего только маленькую кучечку золы, а рядок шпенек от башмачной пряжки, кусочек желтого атласа с пестрыми цветами и какой-то черный предмет, похожий на роговой набалдашник. Стали смекать, как такие вещи могли слететь с неба в огненном шаре. Но тут подошла любезнейшая супруга улетевшего портняжки и, чуть только взглянул на найденные вещи, принялась ломать руки и звать в полном отчаянии: «О, горе мне! да ведь это шпенек от пряжки моего любезного! горе мне! это воскресный камзол моего не наглядного! горе мне! это его набалдашник!» Однако некий великий ученый объяснил, что набалдашник этот вовсе не набалдашник, а метеорит или неудавшееся мировое тело. Таким-то образом жителям Саксенгаузена и всему свету стало известно, что бедный портняжка, которому аптекарский мальчишка преподнес горючего воздуха вместо желудочной водки, сгорел в поднебесье и упал на землю метеоритом или неудавшимся мировым телом. Конец истории о портняжке из Саксенгаузена Кельнеру наконец надоело, что чудной незнакомец не перестает то удлиняться, то укорачиваться, не обращая на него никакого внимания, и он подставил ему под самый нос заказанную бутылку бургундского. Незнакомец тотчас же впился в бутылку и, не отрываясь, высосал ее до последней! капли. Потом без чувств повалился в кресло и оцепенел. Посетители с изумлением наблюдали, что он, покуда пил, все больше и больше раздувался и под конец сделался таким толстым, что потерял всякий человеческий образ. Летательный аппарат другого как будто тоже застопорился, и, выбившись из сил и задыхаясь, он уже собирался совсем снизиться; но чуть только заметил, что его противник лежит полумертвый, как сразу вскочил на него и принялся что есть мочи дубасить его кулаками. Но тут хозяин его оттащил, объявив, что вышвырнет его вон, если он не угомонится. Фокусничать они могут сколько им угодно, ну а ругаться и драться, как простые мужики, он им не позволит. Одаренному способностью летать крайне не понравилось, что хозяин принимает его за какого-то фокусника. Он заявил, что он вовсе не фигляр и не шарлатан какой-нибудь, но что раньше был балетмейстером при дворе одного могущественного короля, теперь же сделался вольнопрактикующим *bel esprit* (остряк (фр.) и, сообразно своему ремеслу, носит имя *Legenie*. Если же он в справедливом гневе на того негодяя подпрыгивал выше, чем полагается, то до этого никому нет дела и касается только его одного. Хозяин нашел, что все это не может служить оправданием драки; *bel esprit* возразил, что если б хозяин только знал, что это за злой и коварный человек, то он, конечно, позволил бы вволю насажать ему синяков на спину. Человек этот служил когда-то на французской таможне, а ныне живет кровопусканием и бритьем и прозывается *monsieur* Пиявка. Неуклюжий, грубый, прожорливый, он каждому в тягость. Мало того что этот бездельник, где с ним ни встретится, высасывает его вино из-под самого его носа, как это было и сейчас, нет, негодяй задался целью ни много ни мало как отнять у него красавицу невесту, которую он собирается увезти с собой из Франкфурта. Таможенный чиновник слышал все, что говорил *bel esprit*. Он сверкнул на него маленькими ядовитыми глазками и

затем обратился к хозяину. – Не верьте, господин хозяин, – сказал он, – не верьте ничему, что здесь наболтал этот висельник и проходимец. Хорош балетмейстер, который наступает своими слоновыми ножищами на нежные ножки танцовщиц, а при пируэте выбивает стоящему у кулисы режиссеру коренной зуб из челюсти и бинокль из рук! А в стихах у него такие же неуклюжие стопы, как неуклюжи его шаги, они шатаются как пьяные, и вместо мыслей какая-то размазня. И этот-то пустомеля возомнил, что если ему удастся иногда тяжеловесно вспархивать подобно вялому гусаку, то красавица должна стать? его невестою. – Ты почувствуешь клюв гусака, чертов червяк! – вскричал *bel esprit* и в припадке бешенства снова рванулся к таможенному чиновнику; но хозяин крепко схватил его сзади выбросил в окно, к великой радости собравшейся толпы. Теперь, когда *bel esprit* очутился снаружи, *monsieur* Пиявка принял тотчас же прежний скромный и солидный вид с каким он вошел в погребок. Люди, стоявшие на улице, решили, что это уже не тот человек, который умел так распирать свое тело, будто оно раздвигалось у него как на шарнирах, и разошлись. Таможенный чиновник в самых вежливых выражениях поблагодарил хозяина за его помощь против *bel esprit* и, в доказательство своей признательности, предложи безвозмездно выбрить его таким ловким и приятным способом, как никто в жизни его еще не брил. Хозяин пощупал подбородок и, так как ему показалось, что он достаточно волосат и колюч, ответил согласием на предложение *monsieur* Пиявки. Таможенный чиновник приступил к делу с большой ловкостью, но вдруг так сильно обрезал нос хозяина, что кровь потекла крупными каплями. Хозяин, увидев в этом зле намерение, вскочил в бешенстве, схватил таможенного чиновника, и тот столь же быстро вылетел в дверь, как *bel esprit* в окно. Вскоре затем в сенях погребка начался ужасный шум и гам; хозяин, едва успев заклеить трупом свой раненый нос бросился посмотреть, что за черт поднял новую суматоху. К своему немалому удивлению, увидел он, что какой-то молодой человек одной рукой схватил *bel esprit*, другой – та жеменного чиновника и иступленно вопил, дики сверка глазами: «Ага, сатанинское отродье, ты не станешь мне больше поперек дороги, тебе не удастся похитить у меня мою Гамахею!» А *bel esprit* и таможенный чиновник, перебивая его пронзительно кричали: «Спасите – спасите нас от бесноватого, почтеннейший хозяин! Он убьет нас, он принял нас за кого-то другого!» – Что это, – воскликнул хозяин, – что это с вами, любезный господин Пепуш? Чем эти чудаки вас обидели? Не ошибаетесь ли вы, принимая их за других? Ведь это балетмейстер господин *Legenie*, а это таможенный чиновник – *monsieur* Пиявка. – Балетмейстер *Legenie*?.. Таможенный чиновник Пиявка? – глухим голосом повторил Пепуш. Он, казалось, собирался с мыслями, пробуждаясь от какого-то сна. Тем временем из общей залы вышли еще два почтенных! бюргера, которые, будучи знакомы с Пепушем, обратились к нему также с увещаниями успокоиться и отпустить на свободу обоих чудаков-иностранцев. Еще раз повторил Пепуш: «Балетмейстер *Legenie*... Таможенный чиновник Пиявка?» – и бессильно уронил руки. С быстротой ветра оба освобожденные бросились вон, и случившиеся в то время на улице прохожие немало были поражены зрелищем, как *bel esprit* упорхнул через крышу супротив стоящего дома, а брадобрей исчез в грязной луже, скопившейся от дождя меж камней перед самой дверью погребка. Бюргеры заставили совершенно растерянного Пепуша войти в погребок и распить с ними бутылку хорошего ниренштейнера. Пепуша не пришлось уговаривать, и он с превеликим удовольствием принялся попивать благородное вино, хотя и сидел безмолвно, как истукан, не отвечая ни словечка на все обращения к нему собеседников. Но наконец лицо его прояснилось, и он заговорил с достаточной приветливостью: – Вы хорошо сделали, добрые мои друзья и товарищи, что не допустили меня тут же на месте убить негодяев, находившихся в полной моей власти. Но вы и не подозреваете, что за опасные существа скрывались под этими причудливыми масками. Пепуш остановился, и можно себе представить, с каким напряженным любопытством его собеседники насторожили слух в ожидании его разоблачений. И хозяин подсел к ним, и все трое, оба бюргера и хозяин, облокотившись на стол и тесно, голова к голове, прижавшись друг к другу, затаили дыхание, чтобы ни слова не проронить из рассказа Пепуша. Видите ли, – продолжал свою речь господин Георг Пепуш

тихо и торжественно, – видите ли, добрые люди, тот, кого вы называете балетмейстером Legenie, есть не кто иной, как злой, неуклюжий гений Тетель, тот же, кого вы принимаете за таможенного чиновника Пиявку, – отвратительный кровосос, гадкий принц пиявок. Оба они влюблены в принцессу Гамахею, которая, да будет вам известно, есть прекрасная, обворожительная дочь могущественного короля Секакиса, и оба они явились сюда, чтобы отбить ее у чертополоха Цехерита. Но это величайшая глупость, которая может возникнуть только в самой тупой башке, ибо, кроме чертополоха Цехерита, есть только одно существо в целом мире, которому может принадлежать принцесса Гамахея, да и это существо, быть может, тщетно будет бороться с чертополохом Цехеритом. Скоро чертополох Цехерит расцветет в полночный час во всем своем великолепии, и в любовной смерти забрезжит утренняя заря высшей жизни. Но чертополох Цехерит – это я сам, и вот почему вы не поставите мне в вину, добрые люди, что я разгневался на этих предателей вообще все это дело принимаю так близко к сердцу. Слушатели Пепуша разинули рты, вытаращили глаза и не могли вымолвить ни слова от неожиданности. Они, как говорится, будто с неба свалились, и в голове у них гудело от быстрого падения. Пепуш залпом осушил бокал вина и сказал, обращаясь к хозяину: Да, да, почтеннейший хозяин, скоро доживете вы до той минуты, когда я расцвету в виде *Cactus grandiflorus* и по всей округе разнесется необычайно прекрасный запах ванили, – можете мне поверить. Хозяин мог на это только пробормотать с глупым видом: «Вот те штука!» Но оба других слушателя многозначительно посмотрели друг на друга, и один из них сказал, двусмысленно улыбаясь и взяв Пепуша за руку: – Вы, кажется, немного разволновались, дорогой господин Пепуш, что, если бы вам выпить стаканчик воды? – Ни капли, – перебил Пепуш благожелательного собеседника, – ни капли! Разве можно подливать воду в кипящее масло, не усилив ярости пламени? Вы полагаете, что я разволновался? Действительно, это очень возможно. Нужно быть сущим дьяволом, чтобы сохранить спокойствие, обменявшись, как я, выстрелами со своим сердечным другом и вдобавок пустив самому себе пулю в лоб! Вот! нате – в ваши руки отдаю я смертоносное оружие, ибо теперь уже все пропало! Пепуш вытащил из кармана пару пистолетов, хозяин отпрянул назад, оба бюргера схватили в руки смертоносное оружие и разразились громким хохотом: пистолеты были деревянные, какие дарят детям на елку. Пепуш, казалось, совсем не замечал, что происходило вокруг него; он сидел погруженный в глубокое раздумье и только повторял беспрестанно: «Лишь бы мне найти его, лишь бы мне найти его!» Хозяин собрался с духом и робко спросил: – Кого вы разумеете, дражайший господин Пепуш, кого вы не можете найти? – Если вы знаете, – сказал Пепуш торжественно, пристально смотря на хозяина, – если вы знаете кого-нибудь, кто мог бы соперничать с королем Секакисом в могущество и в чудесной силе, то назовите его имя, и я облобызаю ваши ноги! А впрочем, я хотел вас спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто знаком с господином Перегринусом Тисом и мог бы мне сказать, где найти его в эту минуту. – Ну, тогда, – ответил, весело улыбаясь, хозяин, – ну, тогда я могу вам услужить, почтеннейший господин Пепуш, и сообщить вам, что добрый господин Тис побывал здесь всего час назад и выпил кружечку вюрцбургского. Он был очень задумчив и, когда я всего только спросил, что нового на бирже, вдруг воскликнул: «Да, сладость моя Гамахея! – я отрекся от тебя! Будь счастлива в объятиях моего Георга!» Тут какой-то тонкий курьезный голосок произнес: «Пойдемте теперь к Левенгуку и поглядим гороскоп!» Тотчас же господин Тис осушил наспех стакан и ушел вместе с таинственным бестелесным голоском; по всей вероятности, оба – и голосок и господин Тис – направились к Левенгуку, который предается ламентациям, ибо все его ученые блохи подошли. Тут Георг вскочил в полной ярости, схватил хозяина за горло и вскричал: – Проклятый пиявочный вестовщик, что говоришь ты? Отрекся? – от нее отрекся – от Гамахеи – Перегринус – Секакис? Рассказ хозяина точно соответствовал истине: он в самом деле расслышал серебристый голосок мастера-блохи, приглашавший господина Перегринуса Тиса идти к микроскописту Левенгуку – благосклонный читатель уже знает, с какой целью. И Перегринус действительно направился к нему. Левенгук принял Перегринуса со слащавой отталкивающей любезностью и с той смиренной льстивостью, в которой

выражается вынужденное и тягостное признание чужого превосходства. Но в зрачке у Перегринуса находилось микроскопическое стекло, и господину Антону ван Левенгуку нимало не помогли его любезность и смирение, – напротив того, Перегринус сразу же заметил и досаду и ненависть, клокотавшие в душе микроскописта. В то время как Левенгук рассыпался в уверениях, какая честь, какая радость для него посещение господина Тиса, мысли его гласили: «Я желал бы, чтоб чернокрылый сатана загнал тебя на десять тысяч сажен в преисподнюю, а между тем я должен быть любезным и почтительным с тобой, потому что проклятое сочетание звезд подчинило меня твоему владычеству и все мое существование в известной степени зависит от тебя. Постой, однако, мне, может быть, удастся тебя перехитрить, потому что, при всем твоим знатном происхождении, ты все-таки порядочный болван. Ты думаешь, что прекрасная Дертье Эльвердинк тебя любит, и того и гляди хочешь даже на ней жениться? Обратись только за этим ко мне, и ты, несмотря на все присущее тебе могущество, о котором ты даже не ведаешь, попадешься в мои руки, так что даже того и не заметишь, и уж тогда я применю все средства чтобы тебя погубить и завладеть как Дертье, так и мастером-блохой». Естественно, что Перегринус сообразовал свое поведение с этими мыслями Левенгука и остерегся упомянуть хотя бы одним словом о прекрасной Дертье Эльвердинк. Он объяснил свое посещение просто желанием посмотреть удивительную естественноисторическую коллекцию господина ван Левенгука. Пока Левенгук отпирал свои большие шкафы, мастер блоха шепнул тихомолком на ухо Перегринусу, что на сто у окна лежит его (Перегринуса) гороскоп. Перегринус осторожно подошел и пристально поглядел в него. Он увидел разные линии, мистически перекрещивавшиеся одна с другой, и иные диковинные знаки; но он не обладал никакими сведениями в астрологии, и, как пристально он ни глядел, все оставалось для него неясным и запутанным. Станным только ему показалось, что он совершенно ясно распознал самого себя в красной блестящей точке посередине доски, на которой был начертан гороскоп. Чем дольше он созерцал эту точку, тем явственнее она принимала форму сердца, тем пламеннее становился красный ее цвет; но сверкала она точно сквозь некую ткань, ее опутывавшую. Перегринус хорошо заметил, что Левенгук всячески старался отвлечь его от гороскопа, и принял благоразумное решение прямо, без обиняков, спросить своего любезного врага о значении таинственной доски, ибо он не подвергался опасности быть обманутым. Злорадно посмеиваясь, Левенгук рассыпался в уверениях, что ему не может быть ничего приятнее, как растолковав своему высокоуважаемому другу знаки на доске, которые он начертил сам, руководствуясь своими малыми знаниями, этом деле. А мысли гласили: «Ого! вот куда ты метишь, голубчик! Надо сказать правду, неплохой совет дал тебе мастер-блоха! Я сам, моим собственным толкованием таинственной доски может быть, должен помочь тебе узнать, в чем состоит магическая сила твоей достойной особы! Я мог бы чего-нибудь просто наврать тебе, но к чему – ты все равно ни йоты не поймешь даже из всей правды, которую я тебе открою, и останешься таким же дураком, как прежде. Гораздо будет для меня удобнее, не утруждая себя новыми выдумками, рассказать тебе о знаках на доске столько, сколько мне заблагорассудится». Таким образом, Перегринус мог быть спокоен, что если он и не все узнает, то по крайней мере не будет и обманут. Левенгук поставил доску на станок, имевший сходство с мольбертом, выдвинув его на середину комнаты. Оба, Левенгук и Перегринус, сели перед доской и воззрились на нее в полном молчании. – Вы, может быть, и не предчувствуете, – начал наконец торжественно Левенгук, – вы, может быть, и не предчувствуете, Перегринус Тис, что те черты, те знаки на доске, которые вы так внимательно разглядываете, составляют ваш собственный гороскоп, который я начертил по таинственным законам астрологической науки и под благоприятным влиянием созвездий. «Откуда у вас такая наглость, как смеете вы проникать в хитросплетения моей жизни, как дерзаете вы открывать тайны моей судьбы?» – могли бы вы спросить меня, Перегринус, и имели бы на то полное право, если бы я не был в состоянии тотчас же доказать вам свое внутреннее к тому призвание. Мне неизвестно, знавали ли вы славного раввина Исаака Бен Гаррафада или по крайней мере слышали ли о нем. Многими глубокими познаниями обладал

раввин Гаррафад и среди них – редким даром читать на лице человека, обитала ли уже раньше его душа в другом теле или она совершенно свежа и нова. Я был еще очень молод, когда старый раввин умер от несварения желудка, объевшись вкусным кушаньем, приправленным большим количеством чеснока. Евреи так быстро убежали с его телом, что покойный не успел собрать и захватить с собой все свои знания и дарования, рассеянные его болезнью. Обрадованные наследники поделили все между собой, я же успел-таки стянуть его дивный дар ясновидения в то самое мгновение, как он трепетал на острие меча, приставленного ангелом смерти к груди старого раввина. Так перешел ко мне тот дивный дар, и я, подобно раввину Исааку Бен Гаррафаду, вижу по лицу человека, обитала ли его душа уже в другом теле или нет. Ваше лицо, Перегринус Тис, при первом же на него взгляде, возбудило во мне самые странные думы и сомнения. Несомненным было для меня давнее предсуществование вашей души, но все предшествующие вашей теперешней жизни воплощения оставались в полном мраке. Я должен был прибегнуть к созвездиям и составить ваш гороскоп, чтобы разрешить эту загадку. И вы, – перебил Перегринус укротителя блох, – и вы Доискались до чего-нибудь, господин Левенгук? Ну, разумеется, – отвечал Левенгук еще более торжественным тоном, – ну, разумеется! Я узнал, что психическое начало, которое оживляет ныне изящное тело моего достойного друга, господина Перегринуса Тиса, существовало уже задолго до этого, правда только как идея без сознания своего образа. Взгляните сюда, господин Перегринус, рассмотрите внимательно красную точку в середине доски. Это – не только вы сами, но эта точка есть также тот образ, который ваше психическое начало в те времена не могло осознать. Сверкающим карбункулом лежали вы тогда в глубоких недрах земли, а простершись над вами, на зеленой земной поверхности, спала прелестная Гамахея, только в той бессознательное растворялся также и ее образ. Странные линии, незнакомые сочетания звезд прорезают теперь вашу жизнь с того момента, как идея приняла образ и превратилась в господина Перегринуса Тиса. Вы, сами того не подозревая, обладаете талисманом. Этот талисман и есть красный карбункул; возможно что король Секакис носил его как драгоценный камень в свое короне или что сам он некоторым образом был карбункулом; во всяком случае, вы обладаете им теперь, но, чтобы пробудить его дремлющую силу, должно произойти одно событие, и тогда с пробуждением силы нашего талисмана решится участь одной несчастной, которая до сей поры влачу тягостную призрачную жизнь между страхом и смутной надеждой. Ах! только призрачную жизнь могло дать милой Гамахее даже самое глубокое магическое искусство, поскольку действенный талисман был у нас похищен! Вы один убил ее, вы один можете вдохнуть в нее жизнь, когда карбункул воспыхает в вашей груди! – Ну а можете ли вы, – перебил снова Перегринус укротителя блох, – ну а можете ли вы объяснить мне, что это за событие, которое должно пробудить силу талисмана, господин Левенгук? Укротитель блох вытаращил глаза на Перегринуса и имел вид человека, неожиданно очутившегося в большом затруднении и не знающего, что сказать. Мысли его гласили: «Что за черт, как же это случилось, что я сказал горазд! больше, чем, собственно, хотел сказать? Хоть бы я промолчал о талисмане, который этот блаженный дурак носит себе и который может дать ему такую власть над нами, что мы все должны будем заплясать под его дудку! И теперь ему должен рассказать о событии, от которого зависит пробуждение силы его талисмана! Как же быть? Признаться, что я сам того не знаю, что все мое искусство бессильно развязать узел, в который заплетаются все линии, и даже, когда Я рассматриваю этот главный звездный знак гороскопа, у меня становится совсем скверно на душе и моя почтенная голов! мне самому представляется в виде подставки для чепца, сделанной из пестро размалеванного картона? Нет, не унижу себя таким признанием, которое даст ему лишнее оружие против меня. Лучше навру-ка я этому болвану, воображающему себя невесть каким умником, что-нибудь такое, чтобы его мороз поддрал по коже и у него пропала бы всякая охота к дальнейшим расспросам». – Обожаемый мой, – вновь заговорил укротитель блох, приняв озабоченный вид, – обожаемый мой господин Тис, не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам об этом событии. Вы знаете, что хотя гороскоп и открывает нам ясно и подробно многие грядущие обстоятельства жизни, но каков будет

исход грозящей опасности, пребывает от нас в полном мраке, и тут возможны и допустимы лишь некоторые гадательные и смутные указания. Такова воля вечной премудрости. Я слишком вас люблю, дражайший господин Тис, как превосходного и сердечного человека, чтобы тревожить и пугать вас прежде времени; в противном случае я сказал бы вам по крайней мере, что событие, которое должно даровать вам сознание вашего могущества, в то же самое мгновение может разрушить ваш теперешний образ, причем это будет сопровождаться ужаснейшими муками ада. Но нет! Я умолчу и об этом, и больше ни слова о гороскопе. Только, прошу вас, не тревожьтесь, дражайший господин Тис, хотя дело и обстоит очень плохо и я, по всем моим научным данным, едва ли могу предсказать хороший исход вашему приключению. Быть может, все-таки и спасет вас от грозной опасности какое-нибудь совершенно непредвиденное сочетание светил, которое пока еще лежит вне круга наших наблюдений. Перегринус дивился бесстыдному вероломству Левенгука, но в то же время все обстоятельства дела, положение, в котором находился перед ним, сам того не подозревая, Левенгук, показались ему столь необычайными, столь забавными, что он не мог удержаться и разразился звонким смехом. – Ну, чему вы смеетесь, – спросил, несколько оторопев, укротитель блох, – ну, чему вы смеетесь, достойнейший мой господин Тис? – Вы поступаете, – отвечал Перегринус, все еще продолжая смеяться, – вы поступаете очень умно, господин Левенгук, что, щадя меня, умалчиваете о грозном событии. Ибо, помимо того что вы слишком расположены ко мне, чтобы пугать и тревожить меня, у вас есть на то и другая важная причина, а именно – что вы сами ровнехонько ничего не знаете об этом событии. Тщетны были все ваши старания Развязать запутанный узел; со всей вашей астрологией тут Далеко не уйдешь; и не упади вам на нос, лишившись чувств, мастер-блоха, со всем вашим искусством дело бы обстою куда как плохо! Ярость запылала на лице Левенгука, он сжал кулаки, заскрежетал зубами и так задрожал и зашатался, что неминуемо упал бы со стула, если бы Перегринус не ухватил его за руку так крепко, как ухватил за горло Георг Пепуш несчастного хозяина погребка. Но хозяину удалось спастись посредством ловкого прыжка в сторону. Вслед за тем Пепуш вылетел в дверь и вошел в комнату Левенгука как раз в то самое мгновение, как Перегринус крепко прижал его к стулу и он мог только яростно бормотать сквозь зубы: «Проклятый Свамердам, верно, это твои проделки!» Как только Перегринус увидел своего приятеля Пепуша, он выпустил укротителя блох, пошел приятелю навстречу и озабоченно спросил, миновало ли то ужасное настроение, которое овладело им с такой губительной силой. Пепуш, казалось, был тронут почти до слез, он уверял, что в жизнь свою не наделал столько бессмысленных глупостей, как сегодня, причем главной глупостью он считает, что, пустив себе в лесу пулю в лоб, он в каком-то кабаке – сам не знает, было ли то у Процлера, в «Лебеде», в Вейденгофе или еще где-нибудь, – наболтал добрым людям невесть что, а хозяина хотел злодейски задушить всего лишь за то, что из отрывочных речей его он вывел намек на самое счастливейшее событие, какое могло только быть для него (для Пепуша). Теперь все его злоключения должны скоро достигнуть высшей точки, ибо слишком невероятно, чтобы добрые граждане не сочли все его речи, все его поведение за сильнейший припадок умопомешательства, и он должен теперь бояться, как бы не пришлось ему, вместо того чтобы насладиться плодами самого радостного для него события, попасть в сумасшедший дом. Пепуш намекнул затем на то, что хозяин кабачка рассказал о поведении и о речах Перегринуса, и, покраснев и потупив глаза, спросил, возможны ли, мыслимы ли в нынешние времена, когда с лица земли исчез всякий героизм, такая жертва, такое отречение в пользу несчастного друга, каким он даже не смеет верить. Перегринус не мог сдержать свою радость, выслушав речь своего друга; он с жаром стал уверять, что со своей стороны далек от всякой мысли причинить хотя бы малейшее огорчение своему испытанному другу, что торжественно отрекается от всяких притязаний на руку и сердце прекрасной Дертье Эльвердинк и охотно отказывается от райского блаженства, хотя оно и улыбалось уже ему ярким и обольстительным сиянием. – И тебя, – воскликнул Пепуш, падая на грудь своего друга, – и тебя хотел я умертвить и, так как я усомнился в тебе, застрелил самого себя! О, какое безумие, какое заблуждение расстроенной

души! – Помилуй, – перебил Перегринус приятеля, – помилуй, Георг, опомнись. Ты говоришь, что застрелился, а стоишь передо мной жив и здоров! Как же все это согласуется? – Ты прав, – отвечал Пепуш, – казалось бы, в самом деле, я не мог бы так, как сию минуту, разумно говорить с тобой, если бы я действительно пустил себе пулю в лоб. Да и люди утверждают, что мои пистолеты вовсе не были каким-нибудь серьезным смертоубийственным оружием, и даже сделаны-то они не из железа, а из дерева, просто игрушки, так что, быть может, весь поединок и самоубийство были не чем иным, как веселой иронией. Уж не поменялись ли мы с тобой ролями и не начинаю ли я мистифицировать самого себя и вести себя как глупый ребенок как раз в ту минуту, когда ты переходишь из твоего детского сказочного мира в действительную живую жизнь? Но как бы то ни было, мне необходимо убедиться в твоём благородстве и в моём счастье, и тогда рассеются все туманы, что затемняют мне зрение или, быть может, обманывают меня, как призрачные образы фата-морганы. Идем, дорогой Перегринус, веди меня к прекрасной Дертье Эльвердинк, и пусть я из твоих рук получу мою милую невесту. Пепуш схватил друга под руку и хотел уже выйти вместе с ним, но неожиданно все это оказалось лишним: дверь отворилась, и в комнату впорхнула прелестная, как ангелок, Дертье Эльвердинк, а за ней старый господин Сваммер. Левенгук, стоявший до сих пор безвольно и неподвижно, бросая только по временам яростные взгляды то на Пепуша, то на Перегринуса, казалось, был поражен точно электрическим ударом при виде старого Сваммердама. Он протянул ему навстречу сжатые кулаки и закричал разъяренным голосом: – А! ты пришел издеваться надо мной, старый обманщик? Но это тебе не удастся, негодяй. Защищайся, пробил твой последний час! Сваммердам отпрянул на несколько шагов назад и, так как Левенгук уже вооружился против него зрительной трубой, вытащил для защиты такое же оружие. Казалось, поединок, завязавшийся в доме господина Перегринуса Тиса, готов был опять возобновиться. Георг Пепуш бросился между сражающимися и, ловко отбив левой рукой убийственный взгляд Левенгука, который мог бы сбить с ног противника, в то же время правой рукой схватил оружие, с которым Сваммердам так же молниеносно уже стал в позицию, и наклонил его вниз, так чтобы тот не мог поранить Левенгука. Затем Пепуш громко заявил, что не допустит никакого спора и никакой битвы между Левенгуком и Сваммердамом, пока не узнает истинной причины их ссоры. Перегринус нашел поступок своего друга столь разумным, что без всяких колебаний выступил также посредником между противниками и поддержал требование Пепуша. Оба, и Левенгук и Сваммердам, были принуждены уступить друзьям. Сваммердам после того стал уверять, что пришел он вовсе не с враждебными намерениями, а лишь с тем, чтобы войти с Левенгуком в любовную сделку относительно Дертье Эльвердинк и тем положить конец распри, которая слишком долго разъединяла два созданных друг для друга начала, которые только совокупными силами могут исчерпать глубочайший клад премоудрости. Сказав это, он с улыбкой взглянул на господина Перегринуса Тиса и добавил, что, как он смеет надеяться, Перегринус выступит в этом деле посредником, ибо Дертье, так сказать, сама укрылась в его объятиях. Левенгук уверял, напротив, что хотя, конечно, обладание Дертье и является яблоком раздора, но он открыл меж тем еще новые козни своего недостойного коллеги. Мало того что он отпирается, будто не владеет неким микроскопом, который получил в возмещение за отказ от своих несправедливых притязаний на обладание Дертье, нет, он еще передал упомянутый микроскоп другому, Дабы еще больше досаждал и мучил его, Левенгука. Сваммердам, напротив, клялся и божился, что никогда не получал этого микроскопа и имеет большие основания полагать, что Левенгук злонамеренным образом утаил его у себя. – Глупцы, – прошептал мастер-блоха на ухо Перегринусу, – глупцы, они говорят о микроскопе, что находится в вашем глазу. Вы знаете, что я присутствовал при составлении мирного трактата, который был заключен Сваммердамом и Левенгуком относительно обладания принцессой Га-махеей. И вот, когда Сваммердам хотел вставить в зрачок левого глаза микроскопическое стекло, которое он действительно получил от Левенгука, я тут же и подцепил его, потому что оно по праву принадлежало мне, а не Левенгуку. Скажите же им прямо, господин

Перегринус, что это сокровище у вас. Перегринус тотчас же, не колеблясь, объявил, что он обладает микроскопическим стеклом, которое Сваммердам от Левенгука должен был получить, но не получил; тем самым любовная сделка между Левенгуком и Сваммердамом не может пока считаться состоявшейся и ни один из них в настоящее время не имеет безусловного права называться приемным отцом Дертье Эльвердинк. После долгих препирательств оба противника сошлись на том, что господин Перегринус Тис, избрав себе в супруги Дертье Эльвердинк, которая так нежно его любит, должен сам решить через семь месяцев, кто из обоих микроскопистов угоден ему в качестве приемного отца Дертье и его тестя. Но как ни прелестна, как ни очаровательна была Дертье Эльвердинк в своем изящнейшем наряде, который, казалось, шили амурчики, какие бы нежные, томные взгляды любви ни бросала она господину Перегринусу Тису, Перегринус не забыл о своем друге и остался верен данному слову, вновь заявив, что он отказывается от руки Дертье. Микроскописты были немало смущены, когда Перегринус указал на Георга Пепуша как на достойнейшего жениха Дертье, имеющего более всего прав на ее руку, и заметил, что пока еще он во всяком случае не может насиловать ее волю. Слезы хлынули потоком из глаз Дертье Эльвердинк, и, зашатавшись, она упала почти без чувств в объятия Перегринуса. – Неблагодарный, – простонала она, – ты разбиваешь мое сердце, отталкивая меня от себя! Но ты хочешь этого! – прими еще один прощальный поцелуй и дай мне умереть! Перегринус склонился над ней, но чуть только уста его прикоснулись к устами малютки, она так сильно укусила его в губы, что брызнула кровь. – Невежа, – весело воскликнула она вслед за тем, – вот как тебя следовало наказать! Образуясь, будь умником и возьми меня, как бы тот ни вопил. Меж тем оба микроскописта, бог знает из-за чего, опять затеяли ожесточенный спор. Георг же Пепуш в полном отчаянии бросился к ногам прекрасной Дертье и восклицал голосом, достаточно жалобным для осипшей глотки несчастного любовника: – Гамахея! Так пламя в груди твоей потухло, так ты уже забыла чудесное былое в Фамагусте, забыла дивные дни в Берлине, забыла... Ты болван, – смеясь, перебила несчастного малютка, – болван ты, Георг, с твоей Гамахеей, с твоим чертополохом Цехеритом, со всем твоим безумным вздором, который, верно, тебе когда-нибудь приснился. Я была и прежде расположена к тебе, мой друг, расположена и до сих пор, и выйду за тебя, несмотря на то что тот, высокий, мне гораздо больше нравится, но только под одним условием, если ты мне свято обещаешь, даже торжественно поклянешься, что употребишь все силы... Малютка прошептала что-то Пепушу совсем тихо на ухо Перегринусу послышалось, однако, что речь шла о мастере-блохе. Тем временем спор между обоими микроскопистами разгорался все пуще и пуще, они снова схватились за оружие, и Перегринус уже принялся укрощать разгоряченных противников, как состав общества опять увеличился. Дверь распахнулась, и с отвратительными криками и визгами в комнату ворвались *bel esprit* – *monsieur Legende* и брадобрей Пиявка. С дикими, ужасными телодвижениями бросились они на малютку, и брадобрей уже ухватил ее за плечо, как Пепуш со всех сил оттолкнул прочь гадкого врага, затем как бы обвился вокруг него всем своим гибким телом и сжал с такой силой, что он с пронзительным ревом, заострившись, весь вытянулся вверх. Покуда все это происходило с брадобреем, оба микро-скописта в виду врага мгновенно помирились друг с другом и общими силами весьма успешно повели борьбу против *bel esprit*. Ничуть не помогло балетмейстеру, что, будучи избит внизу до синяков, он поднялся к потолку комнаты; ибо оба, Левенгук и Сваммердам, схвативши каждый по короткой и толстой дубинке, всякий раз, как *bel esprit* хотел опуститься, гнали его снова вверх ловкими и меткими ударами по той части тела, которая лучше всего их переносит. То было нечто вроде забавнейшей игры в воздушный шар, в которой *bel esprit* принужден был взять на себя самую утомительную и притом неблагоприятную роль, именно роль воздушного шара. Война с демоническими пришельцами, казалось, нагнала на малютку большой страх; она крепко прижалась к Перегринусу и умоляла увести ее из этой опасной свалки. Перегринус не видел причины ей в этом отказать, тем более что его помощь на поле сражения, как он должен был убедиться, была не нужна; он отвел поэтому малютку к ней домой, то есть в комнату своего жилья.

Достаточно сказать, что малютка, как только очутилась наедине с Перегринусом, снова пустила в ход все приемы самого тонкого кокетства, чтобы завлечь его в свои сети. Он твердо помнил, что все это одно притворство, имеющее целью поработить его протеже – мастера-блоху, и все же он до такой степени растерялся, что не подумал вовремя о микроскопическом стекле, а оно послужило бы ему хорошим противоядием. Мастер-блоха снова очутился в опасности, но и на этот паз он был спасен господином Сваммером, который вошел в комнату вместе с Пепушем. Господин Сваммер имел чрезвычайно довольный вид, тогда как в глазах Пепуша пылали бешенство и ревность. Перегринус вышел из комнаты... С глубокой горечью в растерзанном сердце, не видя и не слыша ничего вокруг себя, мрачный побрел он по улицам Франкфурта до городских ворот, оставил их за собою и шел все вперед, пока не добрался наконец до того очаровательного местечка, где произошла странная встреча его с приятелем Пепушем. Тут он вновь призадумался над своей странной судьбой, еще обворожительнее, еще привлекательнее, чем когда-либо, представился ему образ малютки, быстрее потекла кровь по его жилам, чаще забился пульс, грудь готова была разорваться от страстного томления. Со всей болезненностью он почувствовал всю тяжесть жертвы, которую он принес и с которой, ему казалось, погибло все счастье его жизни. Наступила ночь, когда он вернулся в город. Сам того не замечая, а может быть, из бессознательной боязни вернуться к себе домой, забрел он в какие-то боковые переулки и наконец попал на Кальбахскую улицу. Человек с котомкой за плечами спросил его, не здесь ли живет переплетчик Лэммер-хирт. Перегринус поднял глаза и увидел, что он в самом деле стоит перед высоким узким домом, в котором жил переплетчик Лэммерхирт; высоко вверху, в окнах трудолюбивого ремесленника, работавшего всю ночь напролет, светился веселый огонек. Человеку с котомкой отперли дверь, и он вошел в дом. Перегринус вдруг вспомнил с угрызениями совести, что в суматохе последнего времени забыл заплатить переплетчику Лэммерхирту за разные работы, выполненные им для него; он решил на следующее же утро снести ему свой долг.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Злые козни объединившихся микроскопистов и непрекращающаяся их глупость. – Новые испытания господина Перегринуса Тиса и новые опасности, грозящие мастеру-блохе. – Розочка Лэммерхирт. – Вещий сон и конец сказки. Хотя никаких положительных сведений об исходе побоища в комнате Левенгука и не имеется, но остается только яредположить, что оба микроскописта с помощью юного Георга Пепуша одержали полную победу над зловредными пришельцами. Иначе старый Сваммер не возвратился бы домой в таком приятном и довольном настроении. С тою же веселой и приветливой улыбкой вошел Сваммер, или, вернее, господин Иоганн Сваммердам, на следующее утро в комнату господина Перегринуса, который лежал еще в постели и занят был глубокомысленным разговором со своим протеже, мастером-блохой. Чуть только Перегринус завидел господина Сваммердама, как тотчас же велел вставить себе в зрачок микроскопическое стекло. После долгих и весьма скучных извинений за раннее свое посещение Сваммердам уселся в конце концов у самой кровати Перегринуса. Старик ни за что не хотел допустить, чтобы Перегринус ради него встал и надел шлагфрок. В самых причудливых выражениях он стал благодарить Перегринуса за великие одолжения, которые тот ему оказал, не только сдав ему квартиру в своем доме, но и позволив ему вселить к себе молоденькое и часто слишком бойкое и беспокойное женское существо. Далее он должен принять уже за самое большое одолжение то, что Перегринус, не без жертв со своей стороны, содействовал примирению его (Сваммердама) со старым другом и коллегой Антоном ван Левенгуком. По рассказу Сваммердама, их сердца почувствовали вдруг влечение друг к другу в то самое мгновение, как на них напали *bel esprit* и брадобрей и им пришлось спасти прекрасную Дертье Эльвердинк от этих злых негодяев. Вскоре затем воспоследовало и полное формальное примирение между ним и его другом. Левенгук, точно так же как и Сваммердам, признал

благодетельное воздействие на них Перегринуса, и первым делом, за которое они принялись по восстановлению их дружеского союза, было их совместное рассмотрение и посильное истолкование странного и диковинного гороскопа господина Перегринуса Тиса. – Что не удалось, – говорил господин Иоганн Сваммердам, – что не удалось моему другу Антону ван Левенгуку одному, того достигли мы общими силами; таким образом, это был второй опыт, проделанный нами, несмотря на все препятствия, с блестящим успехом. – Глупый близорукий дурак, – прошептал мастер-блоха, сидевший на подушке у самого уха Перегринуса, – он все полагает, что принцесса Гамахея была оживлена им. Подумаешь, хороша жизнь, на которую обречена бедняжка из-за неловкости близоруких микроскопистов! – Добрейший мой, – продолжал Сваммердам, не слыхавший слов мастера-блохи, потому что как раз в ту минуту довольно сильно чихнул, – добрейший и превосходнейший мой господин Перегринус Тис, вы – совершенно исключительный избранник мирового духа, вы – баловень природы; ибо вы обладаете удивительнейшим, могущественнейшим талисманом, или – выражаясь более точным научным языком – прелестнейшим Тсильменная, или Тильземот, который некогда, напоенный небесной росой, вышел из лона земли. К чести моего искусства скажу: я, а не Левенгук, открыл, что этот счастливый Тсильменная происходит от короля Накрао, властвовавшего в Египте задолго до потопа. Но сила талисмана не пробудится до того времени, пока не наступит определенное сочетание светил, средоточие коих находится в вашей досточтимой особе. С вами самими, дражайший господин Тис, должно произойти, и действительно произойдет, нечто такое, от чего, в то же самое мгновение, как пробудится сила талисмана, вы ясно осознаете это пробуждение. Что бы ни говорил вам Левенгук об этом труднейшем пункте вашего гороскопа – все ложь, ибо об этом пункте он ровно ничего не знал, пока я не раскрыл ему глаза. Может статься, дражайший господин Тис, что мой дорогой и сердечный друг хотел и поугаить вас какой-нибудь грозящей вам катастрофой, я знаю, он любит без всякой нужды нагонять страх на людей; но верьте вашему глубоко уважающему вас жильцу, который положила руку на сердце клянется, что вам решительно нечего бояться. Только мне все-таки очень хотелось бы знать, не чувствуете ли вы уже теперь, что владеете талисманом, а также – что вам вообще угодно думать обо всем этом деле? При последних словах Сваммердам с ядовитой улыбкой так пристально посмотрел в глаза господину Перегринусу Тису, будто хотел проникнуть в самые затаенные его мысли; но, конечно, ему это не могло удалиться, не то, что Перегринусу с его микроскопическим стеклом. Посредством этого стекла Перегринус узнал, что примирение обоих микроскопистов было вызвано вовсе не совокупной их борьбой против *bel esprit* и брадобрея, но как раз таинственным гороскопом. Завладеть могущественным талисманом – такова была теперь цель их общих стремлений. Что касается таинственного запутанного узла в гороскопе господина Перегринуса, то тут Сваммердам пребывал в столь же досадном неведении, как и Левенгук, но он рассчитывал, что путеводная нить к раскрытию этой тайны непременно должна находиться внутри самого Перегринуса. Эту нить и хотел он ловко вытянуть из ничего не подозревавшего Перегринуса и тогда похитить у него, с помощью Левенгука, бесценное сокровище, прежде чем он сам узнает его цену. Сваммердам был убежден, что талисман господина Перегринуса Тиса нисколько не уступает кольцу премудрого Соломона и, подобно последнему, дает тому, кто им обладает, полную власть над миром духов. Перегринус отплатил старому Сваммердаму мистификацией за мистификацию. Он сумел ответить ему такой ловкой цветистой речью, что Сваммердам с ужасом заподозрил, не началось ли посвящение в тайну, раскрыть которую не мог ни один из них обоих – ни он, ни Левенгук. Сваммердам потупил глаза, закашлялся и, заикаясь, стал бормотать какие-то невнятные слова; он действительно находился в преглупом положении, и в голове его назойливо жужжали мысли: «Черт – что ж это такое, Перегринус ли говорит со мною? Да сам-то я кто: ученый мудрец Сваммердам или осел?» Совершенно обескураженный, он наконец собрался с духом и произнес: – Ну а теперь поговоримте о чем-нибудь другом, почтеннейший господин Тис, о чем-нибудь другом, повеселее и поприятнее! И Сваммердам заговорил о том, что он, как и Левенгук, с великой

радостью узнал о глубоком чувстве прекрасной Дер-тье Эльвердинк к господину Перегринусу Тису. Если раньше каждый из них оставался при своем мнении, полагая, что; Дертье должна остаться именно у него и не помышлять ни о какой любви и замужестве, то теперь они убедились, что лучше будет устроить все по-иному. В гороскопе Перегринуса им удалось прочесть, что он непременно должен избрать себе в жены прелестную Дертье Эльвердинк, ибо только тогда он достигнет наибольшего благополучия в жизни. Оба они ни минуты не сомневались, что и Перегринус пылает равной любовью к милой малютке, и потому сочли это дело решенным. Сваммердам полагал еще, кроме того, что господин Перегринус Тис – единственный человек, который может без труда убрать своих соперников с дороги, и что даже самые грозные противники, как, например, bel esprit и брадобрей, ничего не смогут против него предпринять. Перегринус прочел в мыслях Сваммердама, что микро-скописты действительно думали, будто открыли в его гороскопе непреложную неизбежность его брака с маленькой Дертье Эльвердинк. Только этой неизбежности они и уступали, рассчитывая, однако, из мнимой потери Дертье извлечь тем большую выгоду, а именно: завладеть самим Перегринусом вместе с его талисманом. Можно себе представить, как мало Перегринус верил в мудрость и ученость обоих микроскопистов, раз оба они не смогли разгадать главного пункта гороскопа. Поэтому он не придавал никакого значения тому воображаемому стечению обстоятельств, которое обуславливало необходимость его брака с прекрасной Дертье, и мог твердо и определенно заявить, что отказывается от руки Дертье, не желая причинять горя своему лучшему искреннему другу, юному Георгу Пепу-шу, который имеет более давние и более законные права на обладание прелестным существом; и слова своего он ни за что в мире не нарушит. Господин Сваммердам поднял свои серо-зеленые кошачьи глаза, которые до сих пор держал потупив, выпучил их на Перегринуса и улыбнулся, как хитрая лиса. – Если только дружба с Георгом Пепушем, – заговорил он, – препятствует Перегринусу дать волю своим чувствам, то это препятствие уже устранено; ибо Пепуш хотя и страдает некоторым помешательством, однако понял, что его брак с Дертье Эльвердинк противоречит сочетанию светил и сулит только всякие беды и гибель; поэтому Пепуш отказался от всех своих притязаний на руку Дертье, заявив только, что он готов пожертвовать жизнью в защиту прекраснейшей, которая не может принадлежать никому, кроме его сердечного друга Тиса, от неуклюжего болвана bel esprit и от кровососа брадобрея. Ледяной озноб потряс Перегринуса, когда он прочитал в мыслях Сваммердама, что все, сказанное им, было правдой. Охваченный самыми странными и противоречивыми чувствами, он упал на подушки и закрыл глаза. Господин Сваммердам настоятельнейше приглашал Перегринуса сойти вниз и самому из уст Дертье и Георга услышать о настоящем положении вещей. Засим он распростился с Перегринусом, причем раскланивался столь же долго и церемонно, как и при своем появлении. Мастер-блоха, спокойно сидевший все это время на подушке, перепрыгнул вдруг к самому кончику ночного колпака господина Перегринуса. Затем он поднялся на своих длинных ногах, стал ломать себе руки, умоляюще простирая их к небу, и воскликнул сдавленным от горьких слез голосом: – Увы мне, несчастному! Я уже думал, что спасен, а теперь только начинается опаснейшее испытание! К чему мужество, к чему непоколебимая твердость моего благородно! покровителя, раз все, все восстает против меня! Я сдаюсь! – все кончено. – Ну, что вы, – сказал господин Перегринус слабым голосом, – ну, что вы сетуете там, на моем ночном колпаке, милый мастер? Неужели вы думаете, что вы один имеете причину жаловаться? Разве я сам не нахожусь также в отвратительнейшем положении? Все существо мое потрясено и расстроено, и я не знаю, с чего начать, что думать. Только не думайте, милый мастер-блоха, будто я так глуп, что дерзну приблизиться к той скале, о которую я могу разбиться со всеми моими прекрасными замыслами и решениями. Я остерегусь последовать приглашению Сваммердама и не увижу вновь Дертье Эльвердинк. – По правде говоря, – отвечал мастер-блоха, опять заняв старое место на подушке возле уха господина Перегринуса Тиса, – по правде говоря, я сомневаюсь, не должен ли я – как это мне ни кажется гибельным – как раз вам и посоветовать спуститься немедленно же к Сваммердаму. Мне представляется, будто линии вашего гороскопа теперь

все быстрее и быстрее сходятся вместе и вы сами уже готовы вступить в красную точку. Каково бы ни было решение темного рока, я вижу ясно, что даже сам мастер-блоха не в силах уйти от этого решения, и потому требовать от вас моего спасения было бы столь же глупо, как бесполезно. Ступайте туда, посмотрите на нее, примите ее руку, предайте меня в рабство, а для того чтобы все свершилось по воле звезд, без всякого постороннего вмешательства, не прибегайте на этот раз к микроскопическому стеклу. – Мне казалось, – произнес Перегринус, – мне казалось, мастер-блоха, что ваше сердце твердо, дух ваш крепок!» и вдруг вы теперь проявляете такое малодушие, такую робость! Но как бы умны вы там ни были – пусть даже сам Рорарий, знаменитый нунций Климента Седьмого, ставит ваш ум гораздо выше нашего, – вы все-таки не имеете достаточного понятия о твердой воле человека и слишком мало ей придаете значения. Повторяю! – я сдержу данное вам слово, а чтобы показать, как непоколебимо мое решение больше не видаться с малюткой, я сейчас встану и пойду, как положил! еще вчера, к переплетчику Лэммерхирту. – О Перегринус, – воскликнул мастер-блоха, – воля человека – хрупкая вещь, часто ее разбивает самый легкий порыв ветерка. Какая бездна лежит между тем, чего желают, и тем, что случается! Часто целая жизнь есть только непрестанное желание, и часто человек в своих постоянных желаниях в конце концов перестает понимать, чего он желает. Вы не хотите больше видеть Дертье Эльвердинк, а кто поручится, что это не случится в следующее мгновение после того, как вы высказали это решение? И странно, но в действительности все произошло именно так, как предсказывал пророческий дух мастера-блохи. Перегринус встал, оделся и, верный своему намерению, направился к переплетчику Лэммерхирту; но когда он проходил мимо комнаты Сваммердама, дверь в нее настежь отворилась, и Перегринус, сам не зная как, очутился под руку со Сваммердамом посреди комнаты перед самой Дертье Эльвердинк, которая весело и непринужденно осыпала его поцелуями и воскликнула своим звонким и серебряным голоском: – С добрым утром, мой милый Перегринус! В комнате находился и господин Георг Пепуш: он смотрел в окно и насвистывал песенку. Но тут он захлопнул окно и обернулся. – А, вот и ты! – воскликнул он, как будто только сейчас заметил Перегринуса. – А, вот и ты! Ты пришел навестить свою невесту, это в порядке вещей, и третий здесь только лишний. А потому я удаляюсь, но, перед тем как я уйду, позволь тебе сказать, мой дорогой Перегринус, что Георг Пепуш презирает всякий дар, который сострадательный друг бросает ему, как милостыню бедному грешнику! Да будет проклята твоя жертва, я не хочу ничем быть тебе обязанным. Бери ее, прекрасную Гамахею, которая так любит тебя, но берегись, как бы чертополох Цехерит не пустил корней под твоим домом и не разрушил его стены. Тон и все поведение Георга граничили с грубым бахвальством, и Перегринус был оскорблен до глубины души тем, что Пепуш так дурно истолковал все его действия. – Мне никогда, – сказал он, не скрывая своей досады, – мне никогда и в голову не приходило становиться тебе поперек дороги; в тебе говорит безумство и ревность влюбленного, иначе ты понял бы, что я совершенно невиновен во всем, что ты сам выдумал. Не требуй, чтобы я убил змею, которую ты питаешь в груди себе на мучение! Знай же, что тебе не бросал я никакого дара, тебе не приносил никакой жертвы, отказываясь от прекраснейшей и, может быть, от высшего счастья моей жизни. Иной, более высокий долг, нерушимое слово принудили меня к этому! В дикой ярости Пепуш уже занес кулак на друга, но тут малютка бросилась между ними и, схватив Перегринуса за Руку, воскликнула со смехом: – Оставь его, пусть убирается этот нелепый чертополох у него одна дурь в голове, он до того своенравен и упрям, как вся их порода чертополохов; что никогда сам даже не знает чего он, собственно, хочет; но ты мой и останешься моим, мой милый, горячо любимый Перегринус! С этими словами малютка усадила Перегринуса на канат и без всяких церемоний прыгнула к нему на колени. Пепуш досыта обгрызши свои ногти, бросился вон из комнаты. – Оставь его, пусть убирается этот нелепый чертополох, у него одна дурь в голове, он до того своенравен и упрям, как вся их порода чертополохов, что никогда сам даже не знает, чего он, собственно, хочет; но ты мой и останешься моим, мой милый, горячо любимый Перегринус! С этими словами малютка усадила Перегринуса на канапе и без всяких церемоний прыгнула к нему на колени. Пепуш,

досыта обгрызши свои ногти, бросился вон из комнаты. Малютка, одетая опять в свое соблазнительное, фантастическое платье из серебряной тафты, была по-прежнему прелестна и обворожительна; Перегринус чувствовал, как у него по жилам заструилось электрическое тепло ее тела, и все-таки по временам на него веяло каким-то ледяным, недобрым трепетом, как бы дыханием смерти. Впервые ему почудилось в глубине глаз малютки что-то странно безжизненное, застывшее, а в звуке ее голоса, даже в шелесте ее серебряной тафты звучало что-то ему чуждое, чему никоим образом не следовало доверять. Ему тяжело было вспомнить, что в тот раз, когда Дертье говорила ему то, что согласовалось с ее мыслями, она была также одета в тафту; почему именно тафта казалась ему опасной, он сам не знал, но мысли о тафте и о чем-то зловещем сами собой связывались друг с другом, подобно тому как сон соединяет самые разнородные образы и люди объявляют все это чепухой, не постигая глубокой, сокровенной их связи. Вовсе не желая огорчать милое маленькое существо каким-нибудь ложным подозрением, Перегринус подавил свои чувства и ждал только благоприятного момента, чтобы вывернуться из ее объятий и ускользнуть от райской змеи. – Но что с тобой, – сказала наконец Дертье, – что с тобой сегодня, мой нежный друг? Ты так холоден, так бесчувствен! Что у тебя на душе, жизнь моя? – Голова болит, – отвечал Перегринус как только мог равнодушнее, – голова болит – хандра – глупые мысли – только это и расстраивает меня, милое мое дитя, и больше ничего. Пусти меня на воздух, и все пройдет в несколько минут; кроме того, у меня есть еще одно дело. – Все это, – воскликнула малютка, быстро соскочив с колен Перегринуса, – все это ложь, но ты злая обезьяна, которую сначала нужно приручить! Перегринус вздохнул свободно, когда очутился на улице, но уже совсем вне себя от радости был мастер-блоха, который, сидя в галстук у Перегринуса, без умолку хохотал и так хлопал в ладоши, что всякому было слышно. Перегринусу была немножко тягостна эта веселость его маленького протезе, ибо она мешала ему думать. Он попросил мастера-блоху успокоиться, ибо солидные люди уже стали посматривать на него с упреком, полагая, что это он сам так хохочет и выкидывает такие глупости на улице. – Какой же я дурак, – восклицал мастер-блоха, не в состоянии умерить свой восторг, – какой же я слепой дурак, что мог сомневаться в победе там, где не было никакой надобности и бороться. Да, Перегринус, это так, вы победили в то мгновение, когда и самая смерть возлюбленной не могла поколебать вашего решения. Дозвольте мне ликовать, дозвольте мне радоваться, ибо все это могло бы оказаться обманом, если бы не показались уже первые лучи солнца, которое озарит все тайны. Когда Перегринус постучал в дверь Лэммерхирта, нежный женский голос откликнулся: «Войдите!» Он отворил дверь; девушка, бывшая одна только в комнате, встала ему навстречу и приветливо спросила, что ему угодно. Для благосклонного читателя будет достаточно, если мы скажем, что девушке этой могло быть около восемнадцати лет, что она была скорее высокого, чем низкого роста, стройна, прекрасно сложена, что волосы у нее были каштановые, глаза темно-голубые, а кожа казалась нежной мягкой тканью из лилий и роз. Но всего дороже было то, что на личике девушки написана была та нежная тайна девственной чистоты, высокой небесной прелести, какую удалось уловить некоторым старым немецким живописцам в их картинах. Как только Перегринус взглянул в очи прелестной девушки, ему показалось, будто он находился в тяжелых оковах, которые расторгла некая благодетельная сила, и ангел света стоит пред ним, об руку с которым он вступит в царство несказанной любви и блаженства. Девушка, покраснев от неподвижно устремленного на нее взгляда Перегринуса и стыдливо потупив глаза, повторила вопрос, что господину угодно? Перегринусу стоило некоторого напряжения пробормотать, запинаясь: не здесь ли живет переплетчик Лэммерхирт? Когда же девушка ответила, что Лэммерхирт действительно живет здесь, но что сейчас он отлучился по делам, Перегринус начал что-то путать о переплетах, которые он заказал, о книгах, которые Лэммерхирт должен был ему доставить; наконец он кое-как попал в колею и вспомнил о роскошном издании Ариоста, которое Лэммерхирт должен был переплести в красный сафьян с богатой золотой отделкой. Тут как бы электрическая искра пробежала по телу девушки; она всплеснула руками и воскликнула со слезами на глазах: – Ах, боже мой! – так вы –

господин Тис! – Она сделала движение, будто желая схватить руку Перегринуса, но быстро отступила назад и глубоко и облегченно вздохнула. Затем милая улыбка, как приветливая утренняя заря, озарила личико девушки, и она начала благодарить и благословлять Перегринуса за все его благодеяния ее отцу, ее матери, и не только за это – нет! – за его кротость, его ласку, за ту радость и блаженство, которые он принес детям своими подарками на Рождество. Она проворно освободила отцовское кресло, которое было завалено книгами, рукописями, переплетенными тетрадками, пододвинула его к Перегринусу и с радушием и гостеприимством просила его сесть. Затем она достала отлично переплетенного Ариоста, осторожно провела полотняным платком по сафьяну и с сияющими глазами подала Перегринусу мастерское произведение переплетного искусства, зная хорошо, что Перегринус воздаст должное прекрасной работе ее отца. Перегринус вынул несколько золотых, но прелестная девушка, заметив его движение, поспешила сказать, что она не знает цены за работу и оттого не может принять уплаты, а потому не соблаговолит ли господин Перегринус обождать несколько минут, так как отец ее должен сейчас возвратиться. Перегринусу показалось, будто презренный металл в его руке сплавился в комок, и он опустил в карман золотые гораздо скорее, чем их вынул. Когда Перегринус совершенно машинально сел в широкое кресло Лэммерхирта, девушка взялась и за свой стул; из вежливости господин Перегринус инстинктивно вскочил с места и хотел сам пододвинуть ей стул, но тут нечаянно вышло так, что он вместо спинки стула схватил руку девушки и, когда осмелился тихонько пожать эту драгоценность, ему почувствовалось еле заметное ответное пожатие. – Киска, киска, что ты делаешь? – обратилась вдруг девушка к кошке и подняла с полу клубок, который та держала в передних лапках, принимаясь за мистическое свое тканье. Затем она с детской непринужденностью взяла за руку плававшего в облаках восторга Перегринуса, подвела его к креслу и еще раз попросила его присесть, сама же уселась против него, занявшись каким-то женским рукоделием. Перегринус носился по волнам бушующего моря. – О принцесса! – вдруг прошептал он, сам не зная почему. Девушка испуганно взглянула на нету, ему представилось, что он оскорбил прелестную, и он воскликнул грустно и нежно: – Моя милая и дорогая mademoiselle! Девушка покраснела и сказала с прелестной девичьей застенчивостью: – Родители зовут меня Розочкой, зовите и вы меня так, милый господин Тис, ведь я тоже принадлежу к числу детей, которым вы сделали так много добра и которые так вас уважают. – Розочка! – воскликнул вне себя Перегринус и едва удержался, чтобы не пасть к ее ногам. Тут Розочка стала ему рассказывать, спокойно продолжая свою работу, про то, как война разорила ее родителей, как ее приняла к себе на воспитание тетка, жившая в соседнем городке, как эта тетка умерла несколько недель назад и как она возвратилась тогда к родителям. Перегринус слышал только сладостный Розочкин голос, почти не вникая в смысл ее слов, и лишь тогда убедился, что все это не одни блаженные грезы, когда вошел в комнату Лэммерхирт и сердечно его приветствовал. Немного спустя появилась и жена с остальными детьми, и как часто в неисследованных глубинах человеческой души, в самых странных сочетаниях перекрещиваются разные мысли, чувства, впечатления, так случилось и с Перегринусом, что даже в экстазе, открывшем ему впервые небесное блаженство, ему вдруг вспомнилось, как порицал его ворчливый Пепуш за подарки детям Лэммерхирта. Ему было очень приятно узнать, что никто из детей не расстроил себе желудка его сладостями, а радостно торжествующий взгляд, даже некоторая гордость, с которыми они посматривали на высокий стеклянный шкаф, где хранились блестящие игрушки, показывал, что они считали последние подарки чем-то необыкновенным, что больше никогда не может повториться. Итак, брюзгливый чертополох был совершенно не прав. «О Пепуш, – сказал про себя Перегринус, – в твою помутившуюся, расстроенную душу не проникает ни один луч истинной, чистой любви!» Тут Перегринус подразумевал, конечно, нечто большее, чем сласти и игрушки. Тихий, скромный, добрый Лэммерхирт с видимым удовольствием посматривал на Розочку, которая, хлопоча по хозяйству, то выходила, то опять входила в комнату, прине-, ела хлеба и масла, накрыла маленький столик в углу и стала готовить бутерброды своим меньшим братьям. Дети весело

теснились к любимой сестре и если, по простительной ребяческой жадности, раскрывали рты немного шире, чем следовало, то это нисколько не нарушало домашней идиллии. Перегринуса восхищало все, что делала прелестная девушка, безо всякого отношения к Вертеровой Лотте с ее бутербродами. Лэммерхирт подошел к Перегринусу и вполголоса начал говорить о Розочке, какая она милая, хорошая, добрая дочка, как господь наградил ее и красотой и как много обещает она ему радости. Но уж всего отраднее ему то, прибавил он с просиявшим лицом, что Розочка проявляет склонность и к благородному переплетному искусству и за немного недель, что она находится в родительском доме, так преуспела в этом тонком ремесле, что уже теперь оставила далеко позади разных олухов-подмастерий, которые только и делают, что зря тратят и портят сафьян и золото и ставят буквы на корешке вкривь и вкось, так что они напоминают собой пьяных мужиков, когда они, шатаясь, выходят из шинка. И счастливый отец прошептал, наклонившись к самому уху Перегринуса: – Нет, господин Тис, я не могу молчать, я должен вам все высказать: знаете, ведь моя Розочка сама позолотила обрез на Ариосте! Как только Перегринус это услышал, он стремительно схватился за сафьяновые переплеты, точно боялся, что какая-нибудь враждебная сила похитит у него эту святыню. Лэммерхирт принял это за знак, что Перегринус собирается идти, и стал просить его остаться у него еще хоть ненадолго. Но это именно и напомнило Перегринусу, что в конце концов ему пора уходить. Он быстро расплатился по счету, и Лэммерхирт, по обыкновению, протянул ему руку на прощанье, за ним и его жена, и Розочка также! Дети стояли в дверях, и, чтобы отдать дань любовной дури, Перегринус, выходя, вырвал у младшего из рук остаток бутерброда, который тот дожевывал, и бросился как сумасшедший вниз по лестнице. – Ну, ну, – произнес озадаченный мальчуган, – что же это такое! Если б господин Тис сказал только, что он голоден, я бы с удовольствием отдал ему весь свой бутерброд! Шаг за шагом шел господин Перегринус Тис домой, с трудом таща под мышкой тяжелые *in quarto* (Книга в четвертку листа (лат.) и с таким сияющим лицом брал в рот крошку за крошкой от своего кусочка бутерброда, точно вкушал манну небесную. – Ну, рехнулся молодчик! – сказал повстречавшийся с ним горожанин. И человека этого нельзя было упрекнуть за то, что он подумал такое о Перегринусе. Когда господин Перегринус Тис вошел к себе в дом, навстречу ему выбежала старая Алина и жестами, выражавшими и страх и заботу, указала на комнату господина Сваммердама. Дверь туда была отворена, и Перегринус увидел, что в кресле сидит в полном оцепенении Дертье Эльвердинк, с таким искаженным, осунувшимся лицом, что краше в гроб кладут. Столь же оцепенелые, столь же похожие на трупы сидели перед ней в креслах Пепуш, Сваммердам и Левенгук. – Ну, скажите на милость, – говорила старуха, – ну, скажите на милость, что здесь за чертовщина! Вот так они сидят уже целый день все трое в полном бесчувствии, не едят, не пьют, не говорят, еле дышат! Перегринусу стало было совсем не по себе от этого в самом деле довольно-таки зловещего зрелища, но покуда он подымался по лестнице, жуткая картина потонула в волнуемом море небесных грез, в котором восхищенный Перегринус плавал с тех пор, как увидел Розочку. Желания, грезы, блаженные надежды всегда стремятся перелиться из сердца в сердце; но с кем другим мог поделиться сейчас своим счастьем Перегринус, кроме как с добрым мастером-блохой? Ему хотел он раскрыть все свое сердце, ему – рассказать все о Розочке, что, собственно, толком и рассказать невозможно. Но сколько ни звал, сколько ни манил он его, никакого мастера-блохи не появлялось, он исчез. После самых тщательных поисков Перегринус нашел в складке галстука, куда мастер-блоха любил забираться во время его прогулок, маленькую коробочку, на которой были написаны следующие слова: «Здесь находится микроскопическое стекло для чтения мыслей. Если вы пристально посмотрите левым глазом в коробочку, то стекло мгновенно очутится у вас в зрачке; если же вы пожелаете вынуть его из глаза, вам стоит только, наклонив глаз над коробкой, легонько сжать зрачок, и стекло упадет на дно коробки. Я хлопочу по вашему делу и отважусь на многое, для своего милого покровителя я сделаю все, что в моих силах, пребывая вашим преданнейшим слугою Мастером-блохой». Для искусного, набившего себе руку романиста, который, вооружившись пером, изображает, как его душе угодно,

человеческие помыслы и поступки, тут был бы прекраснейший случай практически показать на примере Перегринуса всю бесконечную разницу между влюбленностью и любовью, после того как теоретически о ней достаточно уже трактовалось. Много можно было бы тут сказать о чувственном влечении, о проклятии первородного греха и о небесной Прометеевой искре, которая, воспламеняя любовь, тем самым обнаруживает истинное духовное единство разных полов, к чему, собственно, и сводится неизбежный дуализм природы. Пусть эта Прометеева искра возжигает вслед за тем и факел Гименя, как добрую домашнюю свечу, при ярком свете которой хорошо читать, писать, шить, вязать чулок; пусть тут и веселое потомство при случае пачкает себе мордочки вишневым сиропом – все это у нас на земле в порядке вещей. Кроме того, такая небесная любовь имеет свою высокую поэзию, но важнее всего то, что эта любовь не есть какая-нибудь пустая фантазия, а что она действительно существует, как то могут засвидетельствовать многие испытывавшие ее, принесла ли она им счастье или несчастье. Впрочем, благосклонный читатель, верно, давно догадался, что господин Перегринус Тис в маленькую Дертье только здорово влюбился, но что лишь в то мгновение, как он увидел этого прелестного, милого ангела. Розочку Лэм-мерхирт, в его груди запылала истинная небесная любовь. Немного благодарности снискал бы, однако, рассказчик предлагаемой безумнейшей, причудливейшей из всех сказок, если бы он, шаг за шагом держась церемониального марша присяжных романистов, не преминул вдосталь наскучить своему читателю, как того требует каждый написанный по всем правилам роман, а именно если бы он на каждой стадии пути, которую обычно подобает пройти любовникам, позволял себе непринужденно отдохнуть. Нет! любезный читатель, давай лучше поскачем, как лихие всадники на резвых, горячих конях, прямо к цели, не оглядываясь ни направо, ни налево. Вот мы и приехали! Вздохи, любовные жалобы, печаль, восторг, блаженство – все соединяется в фокусе того мгновения, когда прелестная Розочка, с очаровательным девственным румянцем на щеках, признается счастливейшему Перегринусу Тису, что она его любит, что она даже не может высказать, как сильно, как безмерно его любит, как только им и живет, им – ее единственной мыслью, им – ее единственным счастьем. Но мрачный, коварный демон впускает свои черные когти и в самые светлые, солнечные мгновения жизни; да! губительную тень своего мрачного существа он затемняет и это солнечное сияние. Так и в груди Перегринуса вдруг поднялись злые сомнения, более того: злое подозрение зашевелилось в его душе. «Ну, что же? – нашептывал ему какой-то голос. – Ну, что же? ведь и та, Дертье Эльвердинк, признавалась тебе в своей любви, а любовь эта не была ли презренной корыстью, желанием завлечь тебя, заставить нарушить слово, предать лучшего друга, бедного мастера-блоху?» «Я богат, говорят, мое добродушие, моя откровенность, которую многие называют глупостью, могут приобрести мне двусмысленное расположение людей и особенно женщин; и эта, которая признается тебе теперь в своей любви...» Он быстро схватился за роковой подарок мастера-блохи, вынул коробочку и хотел ее открыть, чтобы вставить в зрачок левого глаза микроскопическое стекло и таким образом проникнуть в мысли Розочки. Он поднял глаза, и чистая небесная лазурь прекрасных очей засияла ему в душу. Розочка, хорошо заметив его внутреннее движение, посмотрела на него удивленным и даже несколько озабоченным взглядом. Тут будто молния пронзила его вдруг, и убийственное чувство своей испорченности сдавило ему душу. «Как? – сказал он себе. – Ты, грешный, дерзаешь проникнуть в небесно чистое святилище этого ангела? Ты хочешь выведать мысли, которые не могут иметь ничего общего с презренными деяниями пошлых душ, пекущихся лишь о земном? Ты хочешь надругаться над самым духом любви, испытывая его проклятыми орудиями темной силы?» Поспешно спрятал он коробочку в карман; ему казалось, будто он сотворил грех, который никогда не сможет искупить. Тоскуя, бросился он к ногам испуганной Розочки и восклицал, заливаясь слезами, что он преступный, грешный человек, недостойный любви такого ангельски чистого существа, как Розочка. Розочка, которая не могла понять, что за мрачное настроение напало на Перегринуса, склонилась к нему, обняла его и, плача, шептала: – Бога ради, мой милый Перегринус, что с тобою? Что приключилось? какой злой враг становится между нами? О,

приди, приди ко мне, успокойся и сядь рядом со мной! Перегринус молча, не способный ни к какому произвольному движению, дал Розочке тихо поднять себя. Хорошо, что старое, немного расшатанное канапе было, как обыкновенно, завалено сброшюрованными и уже переплетенными книгами, а также немалым запасом разных переплетных инструментов, так что Розочка должна была многое убрать, чтобы освободить место для себя и для сокрушенного господина Перегринуса Тиса. Это дало ему время несколько прийти в себя, и его великая скорбь, его раздирающая сердце тоска разрешилась в тихое сознание совершенного, но все-таки искупимого проступка. Если до сих пор по выражению лица его можно было уподобить безутешному грешнику, над которым изречен окончательный приговор, то теперь он имел вид только немножко глуповатый. Но при подобных обстоятельствах такой вид всегда служит добрым предзнаменованием. Сидя вдвоем с господином Перегринусом Тисом на упомянутом расшатанном канапе честного переплетчика Лэммерхирта, Розочка начала говорить, потупив глаза и застенчиво улыбаясь: – Я, кажется, догадываюсь, милый, что так внезапно взволновало твою душу. Должна тебе признаться, мне много чудных вещей рассказывали о странных жильцах твоего дома. Соседки, – ведь ты знаешь, что это за народ, эти соседки, они судят и рядят обо всем и часто сами толком не знают о чем; так вот, эти нехорошие соседки рассказывали мне, что в твоём доме живет какая-то удивительная женщина, которую многие даже считают за принцессу и что ты сам в рождественскую ночь принес её в свой дом. Говорят, что старый господин Сваммер приютил её у себя, признав за свою пропавшую племянницу, но вместе с тем эта особа прибегает к самым странным средствам, чтобы завлечь тебя в свои сети. Однако ж это ещё не самое худшее. Подумай только, милый мой Перегринус, старая тетушка, вот что живет напротив, – ты знаешь её, такая востроносая старушка, она всегда так ласково тебе кланяется, а ты ещё как-то сказал про неё, когда она шла в церковь в своём пестром воскресном наряде (я и сейчас не могу вспомнить без смеха), что тебе кажется, будто по улице идет куст огненных лилий, – так эта подозрительная тетушка наболтала мне много нехорошего. Хотя она и кланяется тебе очень ласково, однако же она постоянно предостерегает меня против тебя и утверждает, ни много ни мало, будто в твоём доме творится недоброе и будто маленькая Дертье – не кто иная, как переодетый маленький чертенок, который, чтобы тебя соблазнить, принял образ женщины, да ещё очень красивой и привлекательной. Перегринус! мой дорогой, любимый Перегринус, взгляни мне в глаза, ты не найдешь в них ни следа подозрения, я узнала твою чистую душу, никогда ни от одного твоего слова, ни от одного твоего взгляда не упало ни малейшей тени на светлое, ясное зеркало моей души. Я верю тебе, я верю в наше счастливое будущее, когда мы соединимся неразрывным союзом, которое мои сладкие сны сулят мне полным любви и восторга! Перегринус! что бы ни замыслили против тебя духи мрака, вся сила их рушится перед твоей кротостью, любовью и беззаветной верностью. Что может омрачить любовь, подобную нашей? Откинь же все сомнения: наша любовь есть талисман, пред которым бегут все тени ночи. В это мгновение Розочка представилась Перегринусу неким высшим существом, а каждое её слово – небесным утешением. Неопишное чувство чистейшего восторга наполнило его душу, как мягкое, сладостное дыхание весны. Он уже не был грешником, не был дерзким преступником, каким себя почитал, нет, он уже с восторгом сознавал, что достоин любви прелестнейшей, ангельски чистой девушки. Переплетчик Лэммерхирт возвратился со своим семейством домой с прогулки. Сами собой открылись сердца у Перегринуса и милой Розочки, и с наступлением ночи господин Перегринус уже счастливым женихом покинул тесное жилище переплетчика и его супруги, которые на радостях поплакали, пожалуй, даже больше, чем было необходимо. Все подлинные и достоверные источники, из коих почерпнута эта чудесная история, согласуются в том – и это подтверждается столетним календарем, – что как раз в ту самую ночь, когда господин Перегринус Тис шел домой счастливым женихом, полная луна светила так ярко и приветливо, что вся Конная площадь убралась её серебряным блеском. Вполне естественно, что господин Перегринус Тис, вместо того чтобы лечь в постель, высунулся в открытое окно

и, как подобает влюбленным, стал, глядя на луну, предаваться мыслям о своей возлюбленной. Но хотя бы это и повредило господину Перегринусу Тису во мнении благосклонного читателя, особенно же во мнении благосклонной читательницы, однако справедливость требует сказать, что господин Перегринус, несмотря на все свое блаженное состояние, два раза так здорово зевнул, что какой-то подвыпивший приказчик, проходивший, пошатываясь, под его окном, громко крикнул ему: «Эй, ты там, белый колпак! смотри не проглоти меня!» Это послужило достаточной причиной для того, чтобы господин Перегринус Тис в досаде захлопнул окно так сильно, что стекла зазвенели. Утверждают даже, что во время этого акта он довольно громко воскликнул: «Грубиян!» Но за достоверность этого никак нельзя поручиться, ибо подобное восклицание как будто совершенно противоречит и тихому нраву Перегринуса, и тому душевному состоянию, в котором он находился в эту ночь. Как бы то ни было, господин Перегринус Тис захлопнул окно и отправился спать. Однако потребность сна, по-видимому, была устранена упомянутой чрезмерной зевотой. Мысли одна за другой бродили в его голове, и особенно живо представлялась ему опасность, которой он подвергался, если бы нечестиво воспользовался микроскопическим стеклом, которое подсовывала ему какая-то темная сила. Только теперь он ясно понял, что роковой подарок мастера-блохи, хотя и сделанный им с добрым намерением, все-таки во всех отношениях был адским подарком. «Как? – рассуждал он сам с собой. – Разве человека, испытывающего сокровенные мысли своего ближнего, не постигает, как следствие этого рокового дара, ужасная участь вечного жида, который скитается по пестрому миру, как по негостеприимной, безутешной пустыне, без надежды, без горя и без радости, в тупом равнодушии, этой *carut mortuum* (Здесь – последняя стадия (лат) отчаяния? При беспрестанно возникающих надеждах, при беспрестанно возобновляющемся доверии к людям и при повторяющемся каждый раз горьком разочаровании в них возможно ли, чтобы недоверие, злостная подозрительность, ненависть, мстительность не свили себе гнезда в душе и не истребили бы в ней всех следов воистину человеческого начала, выражающегося в сердечной доверчивости, кротости и добродушии? Нет! меня не обманут твое приветливое лицо, твои льстивые речи, хотя бы ты и таил ко мне в глубине души незаслуженную ненависть; я буду считать тебя своим другом, я буду делать тебе добро, какое только смогу, я открою тебе мою душу, потому что мне это отрадно, и минута горького разочарования, если она наступит, ничего не стоит против радостей прекрасного, минувшего сна. И даже истинные друзья, действительно благожелательные... как переменчива человеческая душа! – не может разве какое-нибудь несчастное стечение обстоятельств, недоразумение, порожденное капризом случая, вызвать в душах и этих друзей мимолетную враждебную мысль? И в это мгновение вдруг я беру несчастное стекло – и мрачное недоверие наполняет мне душу; в несправедливом гневе, в безумном ослеплении я отталкиваю от себя истинного друга, и все глубже и глубже ядовитое сомнение подтачивает самые корни жизни и вносит раздор в мое земное бытие, отчуждает меня от меня самого. Нет! преступление, безбожное преступление желать, подобно падшему ангелу света, сравнивать себя с вечной силой, которая читает в душах людей, потому что владеет ими. Прочь, прочь этот злополучный дар!» Господин Перегринус Тис схватил маленькую коробочку с микроскопическим стеклом и размахнулся, чтобы со всей силы швырнуть ее в потолок. Но вдруг на одеяле совсем рядышком с господином Перегринусом очутился мастер-блоха, в своем микроскопическом виде, очаровательный, в блестящем чешуйчатом панцире и отменно лакированных золотых сапожках. – Остановитесь! – воскликнул он. – Остановитесь, почтеннейший! не затевайте глупостей! Пока я здесь, вы скорее уничтожите солнечную пылинку, чем отбросите хоть на фут это маленькое несокрушимое стекло. Впрочем, я укрылся, по своему обыкновению, в складке вашего галстука уже у почтенного переплетчика Лэммерхирта и потому, незаметно для вас, был свидетелем всего, что происходило. Точно так же мне удалось слышать весь ваш теперешний разговор с самим собой и вынести из него много поучительного. Прежде всего, я обнаружил, что только теперь в вашем сердце зажглись в полном блеске могучие лучи истинной чистой любви, так что, я полагаю, приближается высший, решительный

момент вашей жизни. Засим я увидел, что в отношении микроскопического стекла я находился в большом заблуждении. Поверьте мне, достойный, испытанный друг, хотя я и не имею удовольствия быть человеком, как вы, а только блохою – правда, не простою, но своим славным мастерством достигшей ученых степеней, – все-таки я знаю очень хорошо человеческую Душу и все особенности поведения людей, живя в кругу их постоянно. Иногда их поведение мне кажется чрезвычайно смешным, пожалуй даже глупым; не сердитесь на это, почтеннейший, я говорю ведь это только как мастер-блоха. Вы правы, мой друг, было бы гнусно и ни к чему бы хорошему не привело, если бы люди ни с того ни с сего, когда только заблагорассудится, заглядывали в мысли друг друга; но беззаботной, веселой блохе такие свойства микроскопического стекла ровно ничем не угрожают. Вы знаете, почтеннейший – а скоро, если судьбе будет угодно, и счастливейший, – господин Перегринус, что мой народ нрава легкомысленного, ветреного, отважного, можно бы даже сказать, что он состоит сплошь из молодых, бойких скакунов. Но я, со своей стороны, могу похвалиться еще совсем особой житейской мудростью, которой вам, умным людям, обыкновенно решительно не хватает. Я хочу сказать, что я никогда ничего не делал не вовремя. Кусанье есть главное условие моего бытия; но не было случая, чтобы кусал я не в надлежащее время и не в надлежащее место. Поймите и цените это, мой добрый, верный друг! Теперь я принимаю обратно из ваших рук и буду хранить верно предназначавшийся вам дар, которым не было дано владеть ни препарату человека, именуемому Сваммердамом, ни пожираемому мелочной завистью Левенгуку. А теперь, почтеннейший мой господин Тис, постарайтесь заснуть. Вскоре вас окутают сонные грезы, в которых вам откроется великий момент вашей жизни. В нужное время я буду опять около вас. Мастер-блоха исчез, и свет, который он распространял, потух в глубоком ночном мраке плотно занавешенной комнаты. Как сказал мастер-блоха, так и случилось. Вскоре господину Перегринусу Тису привиделось, что он лежит на берегу гремучего лесного ручья и внимает шепоту ветра, шелесту кустов, жужжанию тысячи насекомых, вившихся вокруг него. Затем ему послышались странные голоса, которые доносились все более и более внятно, так что Перегринусу наконец показалось, что он разбирает слова. Но в его уши проникала только какая-то смутная, сбивчивая болтовня. Наконец чей-то глухой торжественный голос, звучавший все яснее и яснее, начал следующую речь: «Несчастный король Секакис! ты, который пренебрег уразумением природы, ты, который, будучи ослеплен злыми чарами коварного демона, узрел ложного Терафима вместо истинного духа! В том роковом месте, в Фамагусте, скрытый в глубине земли, лежал талисман, но так как ты сам себя уничтожил, то не было начала, чтобы воспламенить его оцепеневшую силу. Напрасно пожертвовал ты своей дочерью, прекрасной Гамахеей, напрасно было любовное отчаяние чертополоха Цехерита; но так же бессильна и бездейственна была и кровожадность принца пиявок. Даже неуклюжий гений Тетель принужден был выпустить из рук сладостную добычу, ибо столь могущественна была еще, о король Секакис, твоя полуугасшая мысль, что ты смог возратить погибшую той древней стихии, из коей она возникла. Безумные мелочные торгаши природой! вам в руки суждено было попасть бедняжке, когда вы обнаружили ее в цветочной пыли того рокового гарлемского тюльпана! Вы мучили ее своими отвратительными опытами, воображая в детском самомнении своем, будто вы сумеете презренными ухищрениями достичь того, что может осуществить только сила того дремлющего талисмана! И тебе, мастер-блоха, не было дано прозреть тайну, потому что твой ясный взор не имел силы проникнуть в глубь земли и отыскать оцепеневший карбункул. Звезды двигались по небу, диковинно переkreщивались на путях своих, и грозные их сочетания образовывали дивные фигуры, недоступные слабому зрению людей. Но ни одно звездное столкновение не пробуждало карбункула; ибо не родилась еще человеческая душа, которая бы хранила и лелеяла этот карбункул, дабы в познании высшего в человеческой природе он пробудился к радостной жизни, – и вот! Чудо исполнилось, мгновение настало». Светлое, пламенеющее сияние пронеслось перед глазами Перегринуса. Он наполовину очнулся от своего забытья и – к своему немалому удивлению – увидел мастера-блоху, который, сохраняя свои микроскопические размеры, был облечен,

однако, в прекраснейшую мантию, ниспадавшую богатыми складками, и с ярко пылавшим факелом в передней лапке ретиво и деловито прыгал по комнате, издавая тонкие пронзительные звуки. Господин Перегринус намеревался уже совсем проснуться, как вдруг тысячи огненных молний прорезали комнату, которая вскоре вся как бы заполнилась одним пылающим огненным шаром. Но тут нежное ароматическое дыхание повеяло на яркое пламя, которое вскоре утихло и превратилось в мягкое лунное сияние. Теперь Перегринус увидел себя на великолепном троне, в богатом индийском царском одеянии, со сверкающей диадемой на голове, со знаменательным лотосом, вместо скипетра, в руке. Трон был воздвигнут в необозримом зале, косинами которого были тысячи стройных кедров, высоких До небес. Между ними прекраснейшие розы и всевозможные другие дивные благоухающие цветы поднимали из темных кустов свои головки, как бы в страстном влечении к чистой лазури, которая, сверкая сквозь переплетшиеся ветви кедров, казалось, взирала на них любящими очами. Перегринус узнал самого себя, он почувствовал, что воспламененный к жизни карбункул пылает в его собственной груди. Далеко в глубине зала гений Тетель старался подняться в воздух, но, не достигнув и половины кедровых стволов, постыдно шлепнулся на землю. А по земле ползал, отвратительно изгибаясь, гадкий принц пиявок; он то надувался, то вытягивался, утолщался и удлинялся, и при этом стонал: «Гамахея – все-таки моя!» Посреди зала на колоссальных микроскопах сидели Левенгук и Сваммердам и строили жалкие, плачевные рожи, восклицая друг другу с укором: «Вы видите, вот куда указывала точка гороскопа, значение которой вы не могли разгадать. Навеки потерян для нас талисман!» У самых же ступеней трона лежали Дертье Эльвердинк и Георг Пепуш; они казались не столько спящими, сколько погруженными в глубокий обморок. Перегринус, или – мы можем теперь так его называть – король Секакис, распахнул свою царственную мантию, складки которой закрывали его грудь, и из нее как небесный огонь засверкал карбункул, разбрызгивая ослепительные лучило всему залу. Гений Тетель, только что собравшийся снова подняться вверх, с глухим стоном разлетелся на бесчисленное множество бесцветных хлопьев, которые, будто гонимые ветром, затерялись в кустах. С ужаснейшим воплем душераздирающей тоски принц пиявок скорчился, исчез в земле, и оттуда послышался рев недовольства, как будто неохотно принимала земля в свое лоно мерзкого беглеца. Левенгук и Сваммердам свалились со своих микроскопов и совсем съежились; по их болезненному стенанию и оханью было ясно, что они испытывали смертельную тоску и жесточайшие мучения. Дертье Эльвердинк и Георг Пепуш, или, как их здесь будет лучше назвать, принцесса Гамахея и чертополох Цехериг, очнулись от своего обморока и, пав на колени перед королем, казалось, умоляли его о чем-то вздохами, полными тоски. Но взоры их были потуплены, как будто они не могли выдержать блеска сверкающего карбункула. Торжественно заговорил Перегринус: – Из жалкой глины и перьев, которые потерял глупый, неповоротливый страус, слепил тебя злой демон, чтобы ты обманывал людей в виде гения Тетеля, и потому луч любви уничтожил тебя, смутный призрак, и ты должен был расплыться в лишенное всякого содержания ничто. И ты также, кровожадное ночное чудовище, ненавистный принц пиявок, должен был перед лучом пылающего карбункула бежать в недра земли. Но вы, бедные сумасброды, несчастный Сваммердам и жалкий Левенгук, чья жизнь была непрерывным заблуждением, вы стремились исследовать природу, не имея ни малейшего понятия о ее внутренней сущности. Вы дерзнули вторгнуться в ее мастерскую, с тем чтобы подсмотреть ее таинственную работу, воображая, что вам удастся безнаказанно узреть ужасные тайны тех бездн, что недоступны человеческому глазу. Ваше сердце оставалось мертвым и холодным, никогда истинная любовь не воспламеняла вашего существа, никогда ни цветы, ни пестрые легкокрылые насекомые не вели с вами сладких речей. Вы мнили, что созерцаете высокие святые чудеса природы со смиренным благоговением, а между тем сами уничтожали это благоговение, силясь, в своем преступном дерзновении, доискаться до сокровеннейших условий сих чудес; и познание, к которому вы стремились, было лишь призраком, который вас морочил как любопытствующих, надоедливых детей. Глупцы! вам луч карбункула не подаст уже ни надежды, ни утешения!

«Ого-го! есть и надежда, есть и утешение! Старуха присоединится к старикам! Вот она любовь, вот она верность, вот она нежность! И старуха-то теперь на самом деле королева и введет своего Сваммердамушку, своего Левенгукушку в свое царство, и там они будут красивыми принцами и будут выщипывать серебряные нитки, и золотые нитки, и шелковые пряжи и заниматься и другими умными и полезными делами». Так говорила старая Алина, которая внезапно очутилась между двух микроскопистов, одетая в самое причудливое платье, точно королева Голконды в опере. Но оба микроскописта до такой степени съежились, что казались вышиной Уже не более пяди. Королева Голконды взяла малюток, которые громко охали и стонали, на руки и с нежными, шутливыми прибаутками принялась ласкать и гладить их, как малых деток. Потом королева Голконды уложила своих миленьких куколок в две маленькие колыбели, изящно вырезанные из прекраснейшей слоновой кости, и начала укачивать их, припевая: Спи, дитя мое, баю, Два барашка во саду, Один черный, другой белый... Между тем принцесса Гамахея и чертополох Цехерит все продолжали стоять коленопреклоненные на ступенях трона. Тогда Перегринус сказал: – Нет! Рассеялось заблуждение, расстраивавшее жизнь вашу, возлюбленная чета! Придите в мои объятия, возлюбленные мои! Луч карбункула проникнет в ваши сердца, и вы вкусите небесное блаженство. С радостным восклицанием поднялись с колен принцесса Гамахея и чертополох Цехерит, и Перегринус прижал их к своему пламенному сердцу. Как только он выпустил их, они в восторге упали в объятия друг другу; исчезла с лица их смертная бледность, и свежая, юная жизнь расцвела на их щеках, засветилась в их глазах. Мастер-блоха, стоявший до сих пор как телохранитель возле трона, вдруг принял свой естественный вид и с пронзительным восклицанием: «Старая любовь не ржавеет!» – одним прыжком вскочил на шею Дертье. Но, о чудо из чудес! В то же мгновение, сияя неопишуемой прелестью девственности и чистой любви, небесный херувим Розочка лежала на груди у Перегринуса. Ветви кедров зашумели, выше и радостнее подняли цветы свои головки, сверкающие райские птицы запорхали по залу, сладостные мелодии заструились из темных кустов, издали донеслись ликующие клики, тысячгласный гимн упоительнейшего наслаждения огласил воздух, и в священном торжестве любви высшее блаженство жизни запылало огненными языками чистого небесного эфира! Господин Перегринус Тис купил в окрестностях города прекрасную усадьбу, и здесь-то в один и тот же день назначено было праздновать и его свадьбу и свадьбу его друга Георга Пепуша с маленькой Дертье Эльвердинк. Благосклонный читатель избавит меня от описания свадебного пира, равно как и от подробного рассказа обо всем прочем, что происходило в сей торжественный день. Охотно предоставляю я также прекрасным читательницам именно так нарядить обеих невест, как то рисуется их фантазиям. Замечу только одно, что Перегринус и его прелестная Розочка были веселы и непринужденны, как дети, Георг и Дертье, напротив, глубоко погружены в самих себя и не сводя очей друг с друга, казалось, не видели, не слышали, не чувствовали ничего вокруг. Была полночь, когда вдруг бальзамический запах *Cactus grandiflorus* наполнил весь обширный сад и весь дом. Перегринус пробудился от сна, ему послышались глубоко жалобные мелодии безнадежного, страстного томления, и странное предчувствие овладело им. Ему казалось, будто друг отрывался насильственно от его груди. На следующее утро хватились второй молодой четы, то есть Георга Пепуша и Дертье Эльвердинк, и велико было общее удивление, когда обнаружилось, что они вовсе даже не входили в брачную комнату. В эту минуту совершенно вне себя прибежал садовник, восклицая, что он не знает, что и подумать, но в саду появилось престранное чудо. Целую ночь снился ему цветущий *Casli8 egatЦпоги8*, и только сейчас он узнал тому причину. Надобно только пойти и посмотреть. Перегринус и Розочка сошли в сад. Посреди красивого боскета за ночь вырос высокий *CasШ8 egапс1Шоп18*, его цветок поник, увянув в утренних лучах, а вокруг него любовно обвивался лилово-желтый тюльпан, умерший тою же смертью растения, – О, мое предчувствие, – воскликнул Перегринус дрожащим от тоски голосом, – о, мое предчувствие, оно не обмануло меня! Луч карбункула, воспламенивший меня к высшей жизни, принес тебе смерть, несчастная чета, связанная странными сплетениями таинственной борьбы темных сил. Таинство раскрылось, высшее

мгновение исполненного желания было и мгновением твоей смерти. И Розочка, казалось, догадалась о значении чуда, она склонилась над бедным умершим тюльпаном, и чистые слезы закапали у нее из глаз. – Вы совершенно правы, – сказал мастер-блоха (который в своем изящном микроскопическом виде вдруг очутился на кактусе), – да, вы совершенно правы, достойнейший господин Перегринус; дело обстоит именно так, как вы изволили сказать, и теперь я потерял мою возлюбленную навеки. Розочка испугалась было маленького чудовища, но мастер-блоха посмотрел на нее такими умными приветливыми базами, а господин Перегринус относился к нему так доверчиво, что она собралась с духом и смело взглянула на его маленькое личико; когда же Перегринус шепнул ей: «Это мой милый, добрый мастер-блоха» – доверие ее к маленько странной твари еще более возросло. – Мой добрейший Перегринус, – с необыкновенной нежностью заговорил снова мастер-блоха, – моя милая, прелестная госпожа Тис, я должен теперь вас покинуть возвратиться к моему народу, но я навсегда сохраню верность и дружбу к вам, и вы будете ощущать мое присутствие приятнейшим для вас образом. Прощайте! Прощайте оба! Желаю вам всякого счастья! С этими словами мастер-блоха принял свой естественный вид и исчез бесследно. И действительно, мастер-блоха был всегда добрым гением в семье господина Перегринуса Тиса, и в особенности! показал он свое деятельное участие, когда по истечении года молодую чету обрадовал своим появлением маленький Перегринус. Тут мастер-блоха сидел у постели молодой матери и кусал в нос сиделку, когда она засыпала, прыгал в дурно сваренный суп для больной и опять выпрыгивал и т. д. Но всего милее со стороны мастера-блохи было то, что он не пропускал ни одного Рождества, чтобы не одарить потомство господина Тиса прелестнейшими игрушками, сработанными самыми искусными художниками его народа: таким приятным образом напоминал он господину Перегринусу Тису ту роковую рождественскую елку, которую можно назвать как бы гнездом, где зародились самые удивительные, самые безумные приключения. Тут внезапно обрываются все дальнейшие заметки, и чудесная история о мастере-блохе получает веселый и желанный.